

Оноре де Бальзак

Турский священник

ДАВИДУ ВАЯТЕЛЮ

Долговечность произведения, на котором я запечатлеваю Ваше имя, дважды прославленное в наш век[1], очень сомнительна. — Вы же вырезаете мое имя на бронзе, переживающей народы, будь она даже отчеканена лишь простым молотком монетчика.

Но в каком затруднении окажутся, должно быть, нумизматы, найдя когда-нибудь в прахе Парижа изображения всех этих голов, увенчанных в Вашей мастерской и увековеченных Вами, и предполагая, что обнаружены следы исчезнувших династий.

За Вами — это божественное преимущество, за мной — благодарность. О. де Бальзак

В начале осени 1826 года аббат Бирото, главное действующее лицо этого повествования, возвращаясь из гостей, где он провел вечер, был застигнут ливнем. Со всей доступной для толстяка поспешностью он пересекал небольшую пустынную площадь позади собора св. Гатиана в Туре, называемую Монастырской.

Аббат Бирото, низенький человечек лет шестидесяти, апоплектического сложения, уже перенес несколько приступов подагры. Вот почему из всех мелких невзгод человеческой жизни для добрейшего священника не было ничего неприятнее, как замочить под внезапным дождем свои башмаки с серебряными пряжками и ступать по лужам. В самом деле, несмотря на то, что он, с присущей всем духовным лицам заботливостью в отношении своей особы, постоянно кутал ноги во фланелевые носки, — сырость всегда давала себя знать, и назавтра подагра неизменно напоминала ему о своем постоянстве. Но ввиду того, что мостовая Монастырской площади всегда суха; ввиду того, что в доме г-жи де Листомэр он выиграл в вист три франка десять су, — аббат стойко переносил дождь, хлынувший на него еще посреди Архиепископской площади. Впрочем, в ту минуту он был во власти своей мечты — давней священнической мечты, лелеемой каждый вечер и, казалось, уже готовой осуществиться. Словом, в грезах его так приятно согревало меховое облачение каноника, — должность эта была в то время вакантной, — что он и не чувствовал осенней непогоды. Лица, обычно собиравшиеся у г-жи де Листомэр, заверили его в тот вечер, что он получит должность каноника, свободную в епархиальном капитуле[2] св. Гатиана, ибо он — самый достойный из претендентов и права его, так долго не признаваемые, теперь уже неоспоримы. Вот если бы его обыграли в карты или он узнал бы, что каноником станет его соперник, аббат Пуарель, тогда бедняга почувствовал бы, какой холодный льет дождь; быть может, он даже посетовал бы на жизнь; но ему выпала одна из тех редких минут, когда предвкушение удачи заставляет забыть обо всем. Ускорил шаг он чисто машинально, и в интересах истины, столь важных при нравоописательном повествовании, следует признать, что он не думал ни о дожде, ни о подагре.

Встарь на Монастырской площади, со стороны Большой улицы, собору принадлежало несколько домов, обнесенных оградой, — в них проживали должностные лица капитула.

После отчуждения церковных имуществ городское управление превратило проход между домами в улочку под названием Псалетт, соединяющую Монастырскую площадь с Большой улицей. Название «Псалетт» ясно указывает, что когда-то здесь проживал регент хора, певчие и все его подначальные. Левая сторона этой улицы целиком занята одним лишь домовладением, через ограду которого вторгаются в его небольшой садик наружные арки собора св. Гатиана, и трудно решить, что было построено раньше — собор или это древнее жильё. Но, рассмотрев наличники и форму окон, дверную арку и общий вид этого дома, потемневшего от времени, археолог определит, что дом всегда составлял одно целое с великолепным зданием, к которому примыкает. Любитель древностей, если бы таковой имелся в Туре, одном из городов Франции, наиболее чуждых литературным интересам, мог бы даже распознать у входа в улочку остатки аркады, которая составляла раньше портал этих помещений церковного притча и, по-видимому, гармонировала с общим обликом здания. Расположенное к северу от св. Гатиана, жилище это постоянно находится в тени высокого собора, который время одело своим темным покровом, изрезало морщинами, пропитало холодной сыростью, одело мхом и сорняками. Дом всегда погружен в глубокое молчание, нарушаемое лишь колокольным звоном, церковным пением да криками галок, гнездящихся на колокольнях. Все это место — весьма своеобразная каменная пустыня, где могут обитать лишь существа совершенно опустившиеся или же, напротив, наделенные необычайной силой духа.

В доме, о котором идет речь, всегда жили священники, а принадлежал он некоей старой деве, мадемуазель Гамар. Хотя отцом мадемуазель Гамар эта недвижимость и была приобретена от государства во время террора, но дочь в течение двадцати лет сдавала дом лишь священникам, поэтому при Реставрации никто не находил предосудительным, что столь благочестивая женщина продолжает владеть конфискованным имуществом. Быть может, в церковных кругах предполагали, что она намерена завещать свой дом капитулу, а миряне считали, что дом, в сущности, и служит своему первоначальному назначению.

Итак, аббат Бирото направлялся к дому мадемуазель Гамар, где он проживал уже два года, — а до того времени в продолжение двенадцати лет это жилище было лишь предметом его вожделений — *erat in votis*[3], — как ныне — должность каноника.

Стать пансионером мадемуазель Гамар и стать каноником — к этому сводились две главные цели его жизни. Быть может, к подобным целям и вообще сводятся все стремления священников, которые, считая жизнь как бы странствием в вечность, не могут желать в этом мире ничего, кроме хорошего ночлега, хорошего стола, чистой одежды, башмаков с серебряными пряжками, — словом, того, что требуется телесными нуждами, а в придачу — сана каноника, чтобы удовлетворить честолюбие, это неизживаемое чувство, которое, как полагают, последует за нами до самого престола господня, ибо есть чины даже среди ангелов. Но вожделение к жилищу, теперь им занимаемому, — чувство, которое показалось бы мирскому человеку столь мелким, — было у него какой-то страстью, чреватой противоречиями, надеждами, восторгами и угрызениями совести, как все самые преступные страсти.

Внутреннее расположение комнат и вместимость дома не позволяли мадемуазель Гамар держать более двух жильцов. И вот за двенадцать лет до того, как Бирото стал пансионером этой девицы, она взялась печься о довольстве и здравии г-на аббата Трубера и г-на аббата Шаплу. Аббат Трубер был жив. Аббат Шаплу умер, и ему немедленно наследовал Бирото.

Покойный аббат Шаплу, каноник собора св. Гатиана, был близким другом аббата Бирото. Навещая каноника, викарий всякий раз восхищался его жилищем, убранством комнат, библиотекой. Со временем этот восторг породил желание владеть прекрасными вещами друга. Аббат Бирото был не в силах подавить такое стремление, хотя жестоко страдал от мысли, что только со смертью его лучшего друга могло быть удовлетворено это скрытое, но упорно возраставшее желание получить квартиру Шаплу.

Аббат Шаплу и его друг Бирото были небогаты. Оба были из крестьян и располагали только скромным священническим жалованьем; небольшие сбережения помогли им пережить трудное время революции. После восстановления Наполеоном католического культа аббат Шаплу был назначен каноником собора св. Гатиана, а Бирото — викарием собора. Шаплу сделался пансионером мадемуазель Гамар.

Когда Бирото впервые пришел навестить каноника в его новом жилище, он заметил только, что оно очень удачно расположено. Его пристрастие к квартире друга зародилось, как зарождается любовная страсть у молодого человека: она часто начинается с холодного восхищения женщиной и лишь впоследствии переходит в любовь на всю жизнь.

Эта квартира, в которую поднимались по каменной лестнице, находилась в части дома, обращенной на юг. Аббат Трубер занимал первый этаж, а мадемуазель Гамар — второй этаж главной части, выходящей на улицу.

Когда Шаплу въехал в свое жилище, стены там были голы, потолки закопчены. Каменные наличники каминов были грубо отесаны, некрашены. Каноник разместил здесь кровать, стол, несколько стульев и небольшой шкаф с книгами — всю свою небогатую обстановку. Жилье походило на красавицу в лохмотьях. Но два-три года спустя одна старая дама, умирая, завещала аббату Шаплу две тысячи франков, и он на эти деньги купил себе из обстановки замка, разрушенного и разграбленного Черной шайкой[4], дубовый книжный шкаф, украшенный замечательными резными фигурами, способными восхитить глаз художника. Аббат приобрел шкаф, соблазнившись не столько его дешевизной, сколько полным соответствием между размерами этой вещи и размерами галереи. А потом на свои сбережения он полностью привел в порядок голую и пришедшую в запустенье галерею: паркет был тщательно натерт, потолок побелен, панели отделаны под дуб. Камин был выложен мрамором. У аббата хватило вкуса подобрать себе старинные ореховые кресла с резьбой. Длинный стол черного дерева и два шкафчика-буль придали галерее вполне стильный вид. За два года, благодаря щедрости благочестивых прихожан и завещательным распоряжениям его духовных дочерей, понемногу заполнились пустые полки в книжном шкафу аббата. Наконец, дядя аббата Шаплу, бывший ораторианец[5], завещал ему, умирая, фолианты творений отцов церкви и другие книги, ценные для священника.

Бирото, все более и более дивясь последовательным превращениям когда-то пустой галереи, понемногу преисполнился невольной зависти. Ему захотелось обладать этим кабинетом, который вполне соответствовал строгости нравов, подобающей духовным лицам. Желание это разгоралось с каждым днем. С течением времени викарий, часами работая в своем кабинете, научился ценить его тишину и покой, а не только восторгаться его удачным расположением. В последующие годы аббат Шаплу превратил свою келью в настоящую молельню, и его благочестивые почитательницы принялись с рвением украшать ее. Позднее одна из дам преподнесла канонику для его спальни кресло, обитое ручной вышивкой, над которой она долго работала на глазах у этого любезного человека, причем он и не догадывался, кому ее работа предназначена. Тогда и спальня, — как прежде галерея, — ослепила викария. Наконец, за три года до смерти, аббат Шаплу завершил убранство своей квартиры, отделав гостиную. Мебель ее, хотя и обитая всего лишь красным трипом, очаровала Бирото. С того дня, как он увидел алые шелковые шторы, кресла красного дерева, обуюсоновский ковер, украшавший эту просторную, заново выкрашенную комнату, квартира Шаплу стала его тайной страстью. Жить в ней, ложиться в кровать с широкими шелковыми занавесями, быть окруженным тем уютом, каким был окружен Шаплу, — в глазах Бирото стало счастьем, выше которого ничего нельзя и пожелать. Вся зависть, все честолюбие, рождаемые соблазнами жизни в людских сердцах, слились для него в настойчивое и тайное желание — иметь свой угол, подобный тому, какой создал себе каноник Шаплу. Если его друг хворал, аббат, конечно, приходил к нему из чувства чистосердечной привязанности, но всякий раз, когда он узнавал о недомогании каноника или сидел у постели больного, его, в глубине души, волновали разнообразные мысли, сущность которых сводилась к одному: «Если Шаплу

умрет, мне можно будет занять его квартиру!»

Однако добросердечному и недалекому, ограниченному викарию не приходило в голову добиваться тем или иным способом, чтобы Шаплу завещал ему свою библиотеку и обстановку.

Аббат Шаплу, любезный и снисходительный эгоист, угадал страсть своего друга — что было совсем не трудно — и простил ее — что было несколько труднее для священника. Но и викарий не изменял своей привязанности к нему и продолжал ежедневно сопровождать каноника в прогулках по одной и той же аллее бульвара, ни разу за все двенадцать лет не пожалев о потраченном времени. Бирото, считавший свою невольную зависть грехом, стремился искупить ее особой преданностью аббату Шаплу. И аббат вознаградил его за это братское чувство, столь наивно-искреннее: за несколько дней до своей кончины он сказал Бирото, когда тот читал ему «Котидьен»:

— На этот раз ты получишь квартиру: я чувствую, что для меня все кончено.

Аббат Шаплу в своем завещании действительно оставил Бирото библиотеку и всю обстановку. Обладание столь желанными предметами и перспектива поселиться в качестве нахлебника у мадемуазель Гамар немало смягчили скорбь Бирото по скончавшемуся другу. Быть может, воскресить его он бы и не захотел, хотя все же оплакивал его. Несколько дней он был подобен Гаргантюа, который, похоронив жену, подарившую ему Пантагрюэля, не знал, радоваться ли ему рождению сына или горевать о кончине своей доброй Бадэбек, и, совсем запутавшись, радовался смерти жены и оплакивал рождение сына.

Аббат Бирото провел первые дни траура, проверяя книги

своей библиотеки, пользуясь

своей мебелью, осматривая ее и повторяя тоном, который, к сожалению, не был увековечен нотной записью:

— Бедняга Шаплу!

Словом, радость и горе настолько занимали его, что он не опечалился, когда место каноника, на которое покойный Шаплу прочил его, было отдано другому. Мадемуазель Гамар охотно приняла к себе викария, и с этой поры он приобщился ко всем житейским радостям, какие ему восхвалял каноник. Неоценимые блага! Послушать покойного Шаплу, так выходило, что ни один из турецких священников, даже сам архиепископ, не был предметом столь нежных и тщательных забот, какие расточала мадемуазель Гамар обоим своим жильцам. Во время совместных прогулок по бульвару каноник почти неизменно с первых же слов упоминал о вкусном обеде, которым его только что накормили, и редко случалось, чтобы он не повторял по меньшей мере дважды в день: «У этой достойной девицы несомненное призвание к тому, чтобы заботиться о духовных особах!»

— Подумайте только, — хвастал он своему другу, — за все двенадцать лет ни разу ни в чем не терпеть недостатка: чистое белье, стихари, брыжи — все лежит в порядке и надушено ирисом. Мебель моя всегда блестит и обтерта так хорошо, что я давно уже забыл, что такое пыль! Видели вы у меня хоть пылинку? Никогда! Дрова превосходные, в доме все, до мелочи, отличного качества, — словом сказать, похоже на то, что мадемуазель Гамар непрерывно хоть одним глазком да надзирает за моей комнатой. Вряд ли за все десять лет мне пришлось когда-нибудь позвонить дважды, чтобы попросить о чем-либо. Вот жизнь — так жизнь! Всегда все наготове, даже ночных туфель искать не приходится! Всегда жаркий огонь, хороший стол! Засорились как-то каминные мехи, это меня раздражало, но стоило мне только заикнуться, и назавтра же мадемуазель дает мне другие, а с ними и те щипцы, которыми, вы видели, я мешаю жар.

—
Надушено ирисом! — только и повторял Бирото, слушая своего друга.

Эти слова всегда поражали его. Рассказы каноника открывали перед бедным викарием картину несбыточного счастья — у него голова шла кругом от забот о своих стихарях и брыжах. Он был беспорядочен, зачастую забывал даже заказать себе обед. И вот с тех пор — собирая ли в соборе св. Гатиана даяния прихожан, служа ли обедню — всякий раз, заметив мадемуазель Гамар, он не упускал случая поглядеть на нее с нежностью и любовью, как святая Тереза — на небеса. Благополучие, которого жаждут все живые существа и о котором столько мечтал Бирото, наконец выпало и на его долю. Однако всем людям, даже и священнику, трудно обходиться без какой-либо прихоти. И вот уже полтора года, как новое желание — стать каноником — заменило в сердце Бирото два прежних, теперь удовлетворенных. Сан каноника стал привлекать его так, как звание пэра должно привлекать министра-плебея. Поэтому вероятность его назначения, надежды, ожившие в нем на вечере у г-жи де Листомэр, так вскружили ему голову, что, лишь подходя к своему дому, он вспомнил о забытом в гостях зонтике. Если бы не проливной дождь, аббат Бирото, пожалуй, и тут не спохватился бы, поглощенный приятными размышлениями о том, что говорилось по поводу его повышения в кружке г-жи де Листомэр, старой дамы, у которой он проводил вечера по средам. Викарий резко позвонил, как бы внушая служанке, чтобы она не заставила себя ждать; затем забился в угол двери, стараясь поменьше промокнуть. Но струя воды, стекая с крыши, лилась, как нарочно, прямо ему на башмаки, и ветер обдавал его брызгами дождя наподобие холодного душа. Прикинув в уме, сколько требуется времени, чтобы выйти из кухни и потянуть за пропущенный ко входной двери длинный шнур, он опять позвонил, на этот раз производя весьма выразительный трезвон.

«Не может быть, чтобы они ушли из дому», — подумал он, не улавливая за дверью ни малейшего шороха.

Он позвонил в третий раз, и звонок так резко прозвучал на весь дом, так долго отдавался эхом от стен собора, что невозможно было не проснуться при яростном звоне. И действительно, минуто спустя священник, уже начавший было раздражаться, услышал с облегчением, как застучали по каменной площадке деревянные башмаки служанки Марианны; однако муки бедного подагрика окончились не так скоро, как он предполагал: Марианне пришлось не тянуть за шнур, но отпирать дверь большим ключом и снимать засов.

— В такую погоду вы заставляете меня звонить три раза! — сказал он Марианне.

— Вы же видите, сударь, дверь была заперта... все давно уже легли, ведь уже отзвонили три четверти десятого. Мадемуазель, вероятно, подумала, что вы и не уходили...

— Но вы-то видели, как я уходил? Да и мадемуазель прекрасно помнит, что по средам я навещаю госпожу де Листомэр...

— Уж не знаю, сударь! Мое дело — исполнять, что мне приказано, — ответила Марианна, запирая дверь.

Эти слова были ударом для Бирото, тем более ощутимым, чем полнее было счастье, созданное мечтами. Молча последовал он за Марианной на кухню, чтобы, по обыкновению, взять там приготовленный для него подсвечник. Но служанка, минуя кухню, повела аббата к нему вверх, где он заметил свой подсвечник на столике у дверей, которые вели в красную гостиную с лестничной площадки, превращенной покойным каноником при помощи стеклянной перегородки в некое подобие передней.

Онемев от удивления, Бирото поспешно вошел в спальню, но, не увидев огня в камине, окликнул еще не успевшую спуститься Марианну:

— Что же это — камин не затоплен?

— Ах, простите, сударь, должно быть, огонь потух, — ответила та.

Бирото снова глянул в камин и убедился, что огня так и не зажигали весь день.

— Мне надо посушить ноги, разведите огонь! — приказал он.

Марианна исполнила приказание с такой поспешностью, как будто ей не терпелось уйти спать. Разыскивая ночные туфли, которых, вопреки обыкновению, не оказалось на коврике перед кроватью, Бирото в то же время внимательно присматривался к Марианне и заключил по всему ее виду, что она вовсе не вскочила прямо с постели, как уверяла. Тут ему припомнилось, что последние две недели он был лишен тех мелких забот, которые в течение полутора лет усаждали его жизнь. И так как люди ограниченного ума очень внимательны ко всяким житейским мелочам, он тут же предался многозначительным размышлениям по поводу четырех обстоятельств, ничтожных для всякого другого, но для него представлявших целых четыре катастрофы. Было ясно — дело шло о полном крушении его счастья: и туфель не оказалось на месте, и Марианна солгала о якобы погасшем огне, и подсвечник был почему-то перенесен на столик в переднюю, и ему самому была подстроена задержка на пороге дома, под проливным дождем!

Когда же огонь был разведен, лампа зажжена и Марианна ушла, не спросив, вопреки обыкновению: «Что вам угодно еще, сударь?» — Бирото неторопливо опустился на подушку прекрасного широкого кресла своего покойного друга, но в его движениях было что-то грустное. Старичок был подавлен предчувствием какой-то злой беды. Он поочередно обращал взгляд на превосходные стенные часы, на комод, на стулья, на занавеси, на ковер, на пышную, как гробница, кровать, на кропильницу, на распятое, на «Мадонну» Валантена, на лебреновского «Христа» — словом, на все предметы, находившиеся в комнате, и лицо его выражало скорбь самого нежного прощания, с каким любовник когда-либо обращался к своей первой возлюбленной или старец — к последним посаженным его руками деревьям. Викарий — правда, поздно вато — отдал себе отчет в том, что вот уже три месяца, как мадемуазель Гамар строит ему всяческие мелкие козни, и кто-нибудь подогадливей давно мог бы их заметить. Не одарены ли все старые девы особым талантом подчеркивать злобный смысл своих поступков и слов? Они царапаются, как кошки; мало того, они при этом испытывают наслаждение и радуются, когда их жертва чувствует, что ранена не случайно. Там, где опытный человек не позволил бы задеть себя дважды, добрейшего аббата Бирото надо было раз за разом бить всей лапой прямо по лицу, чтобы он поверил в злой умысел.

Тотчас же — с дотошностью священника, привыкшего руководить душами своей паствы, копаясь в мелочах в глубине исповедали, — аббат Бирото принялся устанавливать, словно на богословском диспуте, следующие положения: «Допустим, мадемуазель Гамар не вспомнила о вечере у госпожи де Листомэр; допустим, Марианна не развела огня по забывчивости; допустим, думали, что я уже дома. Однако, ввиду того, что я сегодня утром отнес вниз — самолично! — мой подсвечник, — невозможно предположить, чтобы, видя его в своей гостиной, мадемуазель Гамар думала, будто я уже лег! А следовательно, она намеренно заставила меня ждать у дверей под дождем и, приказав отнести наверх мой подсвечник, хотела дать мне понять...»

— Но что? — последние слова проговорил он уже вслух, встревоженный серьезным положением дел.

Он встал с кресла, чтобы сменить промокшую одежду, надел халат и ночной колпак и принялся расхаживать между кроватью и камином, жестикулируя, произнося фразы на разные лады и заканчивая их на высокой ноте, как бы заменяющей восклицательный знак:

— Черт побери! В чем же я провинился, почему она злится на меня?! Вот все не забыла

Марианна развести огонь! Это мадемуазель Гамар приказала ей не топить камина! Надо быть младенцем, чтобы не понять по ее тону и обращению со мной, что я имел несчастье ей не угодить... Разве что-нибудь подобное случилось с Шаплу? Как же оставаться здесь, подвергаясь таким преследованиям?. В моем возрасте...

Он уснул, надеясь выяснить завтра же утром причину этой ненависти, грозившей разрушить счастье, которым он наслаждался вот уже два года, после столь долгого ожидания. Увы! Викарию не суждено было проникнуть в тайные мотивы ненависти к нему старой девы; и не то чтобы о них трудно было догадаться — просто бедняге не хватало того ясного понимания своих поступков, каким обладают лишь великие люди и мошенники, умеющие видеть себя в настоящем свете и судить о себе как бы со стороны. Лишь гений и интриган в состоянии сказать о себе: «Я — не прав!» Корыстный расчет или гениальное прозрение — единственные верные и зоркие советчики. Но у Бирото не было никакого знания света и его нравов, добродушие его граничило с глупостью, образование было у него лишь какой-то с трудом приобретенной оболочкой, вся жизнь его протекала между исповедями и обеднями; как духовник воспитательных заведений и нескольких прекраснодушных прихожан, высоко его ценивших, он был постоянно поглощен мелкой нравственной казуистикой, и его следовало бы считать взрослым ребенком, которому многое в обыденных человеческих отношениях было не по разуму. Эгоизм, присущий всему людскому роду, а особенно священнику, живущему вдобавок в узких рамках провинциальной жизни, развивался в нем постепенно и незаметно для него самого. Однако если бы кто-нибудь вздумал разобраться в его душе и показать ему, что во всех незначительных событиях своего существования и в своем повседневном поведении он отнюдь не отличался той самой самоотверженностью, проявлять которую считал своей главной целью, — то он вполне искренне скорбел бы и осуждал себя. Но тем, кого мы оскорбляем, пускай даже неумышленно, нет дела до нашей невиновности, они хотят мстить — и они мстят. И вот аббат Бирото, слабый человек, должен был испытать на себе силу великого Воздающего Правосудия, которое непрерывно действует, поручая людям исполнять его приговоры, называемые у глупцов

несчастливыми случайностями .

Покойного аббата Шаплу отличало от викария то, что первый был эгоистом ловким и умным, а второй — неловким и простодушным. Когда аббат Шаплу стал жильцом мадемуазель Гамар, он сумел прекрасно разобраться в ее характере. Исповедальня научила его понимать, какой горечью наполнено сердце старых дев из-за выпавшей им на долю печальной необходимости оставаться вне обычного круга жизни, и он тщательно обдумал, как вести себя с хозяйкой дома. Ей было в то время не более тридцати восьми лет, она сохраняла еще кое-какие претензии, переходящие впоследствии у этих скромниц в высокое мнение о своей особе. Каноник понял, что, если он хочет жить в ладу с мадемуазель Гамар, ему надлежит всегда проявлять по отношению к ней ровное внимание, ровную услужливость, быть в этом непогрешимее самого папы. Чтобы добиться такой цели, он установил с хозяйкой лишь те взаимоотношения, какие неизбежны при совместной жизни под общей кровлей или же продиктованы простой вежливостью. И вот, хотя ему и аббату Труберу полагалось принимать пищу три раза в день, он уклонился от общего завтрака, приучив мадемуазель Гамар посылать ему в комнату чашку кофе со сливками. Затем он решил избежать скучных ужинов, довольствуясь чашкой чая в домах, где он проводил вечера. Таким образом, он почти не виделся со своей хозяйкой, кроме как за обедом, появляясь всегда лишь за несколько минут до урочного часа. Отбывая такие «визиты вежливости», аббат за все двенадцать лет, проведенные под этой кровлей, обращался к старой деве все с теми же вопросами, получая на них все те же ответы: сон мадемуазель Гамар, завтрак, мелкие домашние события, ее вид, ее недомогания, погода, продолжительность служб, происшествия за обедней и, наконец, здоровье того или другого священника — вот и все, что давало пищу их каждодневной обязательной беседе. За обедом он тонко льстил ей, постоянно переходя от восхвалений прекрасного качества рыбы, отменного вкуса соуса или жаркого к восхвалению высоких

качеств и добродетелей мадемуазель Гамар как хозяйки дома. Он умышленно ласкал тщеславие старой девы, превознося ее искусство в приготовлении варений, корнизонов, консервов, паштетов и других образцов гастрономического творчества. Наконец, всякий раз, уходя из желтой гостиной, хитрый каноник уверял свою хозяйку, что ни в одном из турецких домов ему не случается пить столь вкусный кофе, как тот, который он только что смаковал. Благодаря превосходному пониманию природы мадемуазель Гамар и житейскому смыслу, проявляемому каноником все двенадцать лет, ничто в их домашнем укладе не давало ни малейшего повода к столкновениям. От аббата Шаплу не укрылась угловатость, жесткость, неуживчивость характера старой девы, и он установил такие взаимоотношения с ней, что добился от нее всех уступок, необходимых для благополучия и спокойствия его жизни; а мадемуазель Гамар заявляла всегда, что аббат Шаплу любезнейший, умнейший и чрезвычайно уживчивый человек. Что касается аббата Трубера, богомольная дева о нем вовсе не говорила. Всецело вовлеченный в ее жизнь, как спутник в орбиту своей планеты, Трубер был для старой девы чем-то средним между представителями человеческой и собачьей породы. В ее сердце он занимал уголок, находившийся между местом, отведенным для друзей, и тем, которое принадлежало в нем жирному сопящему мопсу, ее любимцу. Она командовала аббатом как хотела, и все возраставшая близость их интересов заставляла думать в кругу ее знакомых, что аббат Трубер имеет виды на состояние старой девы, неизменной кротостью привязывает ее к себе и, притворяясь покорным ей, не выказывая ни малейшего желания забрать ее в руки, тем успешнее руководит ею. Когда умер аббат Шаплу, старая дева, желая иметь тихого жильца, естественно, вспомнила о викарии. Пока не стало известно завещание каноника, мадемуазель Гамар подумывала, не отдать ли комнаты покойного своему славному аббату Труберу, который, как она сама понимала, был довольно дурно устроен в нижнем этаже. Но когда аббат Бирото пришел договориться об условиях пансиона и она увидела, как ему полюбилась бывшая квартира Шаплу, какое пылкое желание, которое теперь уже можно было не скрывать, носил он долгие годы в своем сердце, она не решилась заговорить о другом помещении и поступилась чувством ради выгоды. А чтобы утешить своего нежно любимого каноника Трубера, она заменила в его комнатах белый плиточный пол паркетом «в елочку» и исправила дымивший камин.

Навещая каноника в этом доме целых двенадцать лет, аббат Бирото ни разу не дал себе труда задуматься, чем объяснить крайнюю сдержанность в обращении его друга с мадемуазель Гамар. Переезжая к этой благочестивой девице, он чувствовал себя, как любовник на пороге своего счастья. Не будь он даже недогадлив от природы, его ослепление счастьем было столь велико, что все равно помешало бы ему судить о мадемуазель Гамар и подумать о необходимости ввести в известные рамки свое каждодневное общение с нею. Мадемуазель Гамар представлялась ему издали, сквозь призму житейских радостей, которые он мечтал вкусить близ нее, неким совершенным существом, безупречной христианкой, любвеобильной евангельской женой, разумною девой, украшенной теми незаметными, скромными добродетелями, которые разливают в жизни небесное благоухание. И вот с энтузиазмом человека, добившегося давно желанной цели, с простодушием ребенка и беспечной нерассудительностью старика, неискушенного в знании света, вошел он в жизнь мадемуазель Гамар, подобно тому как муха попадает в паутину. В первый же день после переселения Бирото по окончании обеда задержался в гостиной старой девы и провел там целый вечер, желая познакомиться с ней поближе, а также уступая безотчетному чувству неловкости, боязни показаться невежливым, которая не позволяет застенчивым людям оборвать начатый разговор и уйти от собеседника. Под конец вечера зашла мадемуазель Саломон де Вильнуа, старая дева, приятельница Бирото, и мадемуазель Гамар, к своему великому удовольствию, могла составить у себя партию в бостон. Укладываясь спать, викарий находил, что весьма приятно провел вечер. При очень поверхностном знакомстве с мадемуазель Гамар и аббатом Трубером он не умел в них разобраться. Люди редко выставляют напоказ свои недостатки, — большинство старается прикрыть их привлекательной оболочкой. И вот у аббата Бирото возник восхитительный проект посвятить свои вечера мадемуазель Гамар, вместо того чтобы проводить их на стороне. Хозяйка уже

много лет лелеяла одну мечту, возраставшую с каждым днем. Эта прихоть, свойственная и старикам, и даже хорошеньким женщинам, переросла у нее в страсть, подобную страсти Бирото к квартире его друга Шаплу, и питалась в сердце старой девы завистью, тщеславием, высокомерием, эгоизмом, — словом, извечными людскими чувствами. Наша маленькая история — это история всех времен. Стоит лишь немного расширить узкий круг, в котором предстоит действовать этим персонажам, чтобы найти скрытую пружину событий, происходящих и в самых высоких сферах общества. Мадемуазель Гамар проводила свои вечера поочередно в шести-семи различных домах. Было ли ей досадно, что она, в своем возрасте, ищет чужого общества, а ее общества никто не ищет; страдало ли ее самолюбие оттого, что у нее не было своего постоянного кружка; жаждала ли она, наконец, в своем тщеславии, тех похвал и внимания, какие выпадали на долю ее приятельниц, — как бы там ни было, все ее честолюбивые усилия были направлены к созданию своего салона, где вечером

охотно собиралось бы несколько завсегдатаев. После того как Бирото и его приятельница мадемуазель Саломон провели у нее несколько вечеров в обществе терпеливого и верного аббата Трубера, мадемуазель Гамар однажды, выходя из собора, объявила добрым своим приятельницам — перед которыми до сих пор она чувствовала себя приниженной, — что раз в неделю она принимает у себя дома, где по таким дням всегда найдется достаточно партнеров для бостона, и что она просит не забывать об этом тех, кому захотелось бы повидать ее; ей нельзя оставлять в одиночестве своего нового жильца, аббата Бирото; мадемуазель Саломон бывает у нее каждый божий день; ведь все это друзья... и вообще... и вообще... и так далее. Смиренная гордость и приторное хвастовство, сквозившие в ее речах, особенно питались тем, что мадемуазель Саломон принадлежала к самому аристократическому обществу Тура. Хотя та приходила исключительно из дружбы к викарию, мадемуазель Гамар торжествовала, принимая ее в своей гостиной, и считала себя уже накануне осуществления великого проекта, твердо надеясь создать благодаря аббату Бирото свой собственный кружок, столь же многолюдный, столь же приятный, как кружки г-жи де Листомэр, мадемуазель Мерлен де ла Блотьер и других набожных дам, имевших возможность принимать у себя благочестивое турецкое общество. Но увы! Аббат Бирото разрушил ее надежды! И если те, кому в жизни удалось насладиться долгожданным счастьем, поняли, как должен был радоваться викарий, ложась в постель покойного Шаплу, они могут также, хотя бы в общих чертах, представить себе, как была огорчена мадемуазель Гамар, видя крушение своей заветной мечты. После того как с полгода аббат Бирото терпеливо переносил свое счастье, он вдруг изменил ее салону, а вместе с ним исчезла и мадемуазель Саломон! Несмотря на невероятные усилия, честолюбивой Гамар удалось залучить к себе не более пяти-шести лиц, постоянство которых к тому же было весьма сомнительно, а между тем для бостона нужно было собрать, по крайней мере, четырех верных игроков. Итак, ей пришлось с повинной головой вернуться к своим прежним приятельницам, ибо старые девы наедине с собой чувствуют себя в слишком дурной компании, чтобы не искать суетных удовольствий общества. Не трудно угадать причину бегства викария; хотя он был из тех, кому уготована обитель в небесах, по заповеди «блаженны нищие духом», — все же он, подобно многим глупцам, не выносил скуки, нагоняемой на него другими глупцами. Неумный человек похож на сорняки, которые любят высасывать соки из плодородной почвы; чем скучнее он сам, тем более он требует развлечений от других. Томящая его скука и нежелание оставаться наедине с собою вызывают у него ту страсть к передвижению, то стремление к новым местам, которые присущи глупцу так же, как присущи они холодным людям, неудачникам и тем, кто сам испортил себе жизнь. Не разгадав всей пустоты и ничтожества мадемуазель Гамар, не поняв ограниченности ее ума, бедняга, к сожалению несколько поздно, заметил ее недостатки, как общие всем старым девам, так и присущие только ей одной. Недостатки людей гораздо заметнее их достоинств и потому даже прежде, чем нанести нам какой-либо ущерб, уже бросаются в глаза. Этот психологический закон, быть может, оправдывает присущую всем нам в той или иной степени склонность к злословию. С житейской точки зрения, подтрунить

над смешными чертами ближнего так естественно, что следовало бы прощать насмешливые пересуды, раз мы сами даем для них пищу, и возмущаться лишь клеветой. Но глаза бедного викария никогда не обладали зоркостью, обычно позволяющей людям заметить шероховатости характера у своего ближнего и остеречься их. Чтобы узнать недостатки своей хозяйки, ему пришлось испытать боль — сигнал, посылаемый природой всем своим созданиям! Почти каждая старая дева, которой ведь не приходилось принаравливать свой характер и образ жизни к характеру и жизни других людей, как того требует назначение женщины, испытывает потребность подчинить себе всех окружающих. У мадемуазель Гамар это чувство обратилось в деспотизм. Однако это был деспотизм, направленный на мелочи. Так, — если привести один из бесчисленных примеров, — корзинка с фишками и жетонами, поставленная на столик для бостона перед аббатом Бирото, должна была там и оставаться; и он немало досаждал ей, переставляя корзинку чуть ли не каждый вечер. Как возникало это нелепое раздражение из-за пустяков, в чем был его смысл? На это никто не мог ответить, даже и сама мадемуазель Гамар. Аббат был сущий агнец по натуре, но ведь и овцам не нравится поминутное тыканье пастушеского посоха, да еще снабженного острием. Не уяснив себе, чем вызвано долготерпение аббата Трубера, он захотел избавиться от счастья, которое мадемуазель Гамар создавала для него по своему рецепту — как если бы дело шло о каком-либо варенье. Но по своей наивности бедняга взялся за это довольно неловко, и расставание не обошлось без придирок и колкостей, которые Бирото постарался не принимать близко к сердцу.

К концу первого года, проведенного под кровлей мадемуазель Гамар, викарий вернулся к своим прежним привычкам: два вечера в неделю он проводил у г-жи де Листомэр, три — у мадемуазель Саломон и еще два — у мадемуазель Мерлен де ла Блотьер. Эти дамы принадлежали к аристократическому кругу турецкого общества, куда мадемуазель Гамар не была вхожа. Поэтому ее задела за живое измена Бирото, заставившего старую деву почувствовать всю незначительность ее особы: во всяком выборе само собой уже предполагается пренебрежение к тому, кто отвергнут.

— Господин Бирото нашел наше общество недостаточно приятным, — сказал аббат Трубер друзьям мадемуазель Гамар, когда ей пришлось отменить свои вечера, — это человек острого ума, тонкая штучка! Ему нужен блеск, светское общество, где умеют и поострить и позлословить...

Такие слова всегда давали повод мадемуазель Гамар превознести свой прекрасный характер и умалить Бирото.

— Не так уж он умен, — заявляла она. — Не будь аббата Шаплу, никогда не был бы он принят у госпожи де Листомэр! О! как много я потеряла в лице аббата Шаплу! Вот был славный человек, с ним легко было жить! За все двенадцать лет между нами не было ни малейшего недоразумения или неприятности.

Она изображала аббата Бирото в столь нелестном виде, что ее добродушный жилец прослыл в мещанском кругу ее знакомых — втайне враждебно настроенных к турецкой знати — существом неуживчивым и привередливым.

А затем в продолжение нескольких недель слух старой девы услаждали утешения приятельниц, которые, сами не веря ни одному своему слову, без конца повторяли:

— Как? Неужели можно было невзлюбить вас, такую мягкую, такую добрую?

Или же:

— Успокойтесь, милая мадемуазель Гамар, все так хорошо знают вас!..

И так далее, и так далее.

Но все они втайне благословляли викария, радуясь, что он избавил их от необходимости проводить раз в неделю вечер на Монастырской площади — безлюдной и мрачной окраине города.

Между людьми, живущими вместе, ненависть, так же как и любовь, непрерывно усиливается; ежеминутно возникает повод полюбить или возненавидеть еще больше. Вскоре аббат Бирото стал невыносим для мадемуазель Гамар. Спустя полтора года после его переселения к ней, в ту пору, когда старик, сочтя молчаливую ненависть за полное умиротворение, поздравлял себя с тем, что ухитрился, как он говорил, так хорошо спеться со старою девою, она начала исподтишка травить его, осуществляя свой коварный замысел. И лишь четыре столь значительных обстоятельства, как запертая дверь, туфли, не оказавшиеся на месте, незатопленный камин, подсвечник, отнесенный наверх, открыли ему эту грозную ненависть, все последствия которой ему выпало на долю испытать позднее, когда дело было уже непоправимо.

Засыпая, старик еще долго раздумывал, стараясь объяснить себе на редкость нелюбезное поведение мадемуазель Гамар, но тщетно — да иначе и быть не могло! Действительно, вполне логично следуя до сих пор лишь естественным требованиям своего эгоизма, бедняга неспособен был догадаться, в чем же он провинился перед своей хозяйкой.

Если значительные явления легко постигнуть и легко определить, то, чтобы понять мелкие жизненные происшествия, требуется обстоятельность. Для понимания событий, составляющих как бы предысторию этой буржуазной драмы, где, однако, страсти кипят не меньше, чем это бывает при самой крупной борьбе, такое пространное вступление было необходимо, и правдивому историку трудно было бы здесь обойтись без последовательной передачи житейских мелочей.

На другое утро мечты о сане каноника так завладели викарием, что он забыл о четырех обстоятельствах, которые накануне казались ему столь зловещими. Не желая вставать в настывшей спальне, викарий позвонил Марианне, тем самым сообщая ей о своем пробуждении и приглашая ее к себе. Затем он, по своей привычке, продолжал нежиться в постели, пребывая в приятном полусне, от которого его обычно постепенно отрывала служанка, растапливая камин; он любил просыпаться, как бы под музыку, под легкие звуки ее шагов и голоса. Прошло с полчаса, а Марианна все не показывалась. Викарий, в мечтах уже ставший каноником, хотел было позвонить еще раз и уже протянул руку к звонку, но тут услышал на лестнице мужские шаги. То был аббат Трубер; он осторожно постучал в дверь, и Бирото попросил его войти. Визит этот не удивил викария: аббаты довольно аккуратно навещали друг друга разок в месяц. Каноник Трубер вошел к метившему в каноники Бирото и сразу же обратил внимание на нетопленный камин. Отворив окно, он кликнул Марианну, сурово приказал ей подняться к викарию и, обернувшись к своему собрату, добавил:

— Ей не сойдет с рук такая небрежность, если мадемуазель узнает...

Затем он спросил Бирото о его здоровье и сердечно осведомился, не узнал ли тот чего-нибудь новенького относительно своего назначения каноником. Викарий рассказал о предпринятых им хлопотах и простодушно назвал ему лица, на которые воздействовала г-жа де Листомэр; он не знал, что Трубер затаил неприязнь против этой дамы, не принимавшей его у себя — его, аббата Трубера, уже дважды выдвигавшегося кандидатом в главные викарии епархии.

Трудно встретить двух столь несхожих людей, как эти два аббата. Трубер был человек высокий и сухопарый, с землистым, желчным цветом лица, а викарий был, что называется, помпончик. Румяная физиономия Бирото выражала бездумное добродушие, тогда как лицо Трубера, длинное, изрезанное глубокими морщинами, в иные минуты принимало выражение презрительной иронии. Однако надо было внимательно всмотреться, чтобы распознать в его

лице подобное чувство. Обычно каноник держался с невозмутимым спокойствием, опустив долу желтые глаза, взгляд которых, когда нужно было, становился острым и пронизывающим. Рыжие волосы дополняли этот суровый облик, на который то и дело набегала тень серьезных размышлений. Некоторые предположили было, что его снедает безмерное честолюбие, но другие в конце концов рассеяли это мнение, уверяя, что знают Трубера лучше и что попросту он угнетен деспотизмом мадемуазель Гамар и изнурил себя слишком длительными постами. Он был неразговорчив и никогда не смеялся. Когда же ему случалось быть приятно взволнованным, на его лице проступала слабая улыбка, тотчас же терявшаяся в морщинах. Бирото, напротив, был воплощенная непосредственность, воплощенная откровенность, любил полакомиться, радовался по всякому поводу с простодушием беззлобного, бесхитростного человека. С первого взгляда аббат Трубер внушал чувство невольного страха, а викарий вызывал улыбку умиления. Когда внушительный каноник торжественно шествовал по приделам и переходам собора со склоненным челом и строгим взглядом, он внушал почтение; его согнутый стан гармонировал с желтыми церковными сводами, в складках его сутаны было нечто монументальное, достойное резца ваятеля. А добрейший викарий передвигался по собору безо всякой важности, семенил и суетился, катясь, как шарик. И все же в судьбах обоих была одна сходная черта: внешность аббата Трубера, дававшая повод опасаться его честолюбия, быть может, и обрекла его на многолетнее пребывание в скромных канониках, подобно тому как характер и повадки Бирото предназначили ему вечно оставаться лишь соборным викарием. Однако ж, когда аббат Трубер достиг пятидесятилетнего возраста, его осторожное поведение, кажущееся отсутствием каких-либо честолюбивых замыслов и безупречно святая жизнь рассеяли у вышестоящих лиц опасения, внушенные его грозной внешностью и предполагаемой одаренностью. А так как здоровье Трубера за последний год сильно пошатнулось, предстоящее назначение его на пост главного викария епархии становилось вполне вероятным. Даже соперники относились благожелательно к его назначению, рассчитывая подготовить свое собственное за короткий срок, отмеренный ему болезнью, которая в последнее время не оставляла его в покое.

Подобного рода надежды трудно было возлагать на Бирото, так как тройной подбородок его говорил конкурентам, оспаривавшим у него сан каноника, о цветущем здоровье, а его подагра казалась им, согласно поговорке, залогом долголетия. В свое время аббат Шаплу, человек здравомыслящий и любезный, ценимый как светским обществом, так и епархиальными властями, упорно противился — правда, тайком и весьма осторожно — повышению аббата Трубера. Он даже лишил его весьма ловко доступа в те салоны, где собиралось лучшее общество Тура, хотя аббат Трубер был к аббату Шаплу весьма почтителен, выражая ему глубокое уважение при каждом удобном случае; эта постоянная смиренность не воздействовала на мнение покойного каноника, и даже на последней прогулке он все твердил аббату Бирото:

— Остерегайтесь сухаря Трубера, остерегайтесь долговязого! Это Сикст Пятый[6] нашей епархии!

Таков был друг и сотрапезник мадемуазель Гамар, нанесший Бирото дружеский визит и выказавший ему столько внимания на следующий день после того, как несчастному аббату была объявлена война.

— Вы уж простите Марианну, — сказал Трубер, когда служанка вошла, — она, наверно, заходила сначала ко мне. У меня ведь такая сырость, я кашлял всю ночь... А у вас сухо, — добавил он, оглядывая карнизы.

— О, я устроен, как какой-нибудь каноник, — улыбаясь, ответил Бирото.

— А я, как простой викарий, — ответил смиренный священник.

— Да, но вы вскоре переедете в архиепископский дворец, — заметил добродушный аббат, которому хотелось видеть всех счастливыми.

— А быть может — на кладбище! Но да будет воля господня! — Трубер возвел глаза к небу с выражением покорности, затем добавил: — Я зашел попросить у вас дать мне почитать «Епископальные росписи». Во всем Туре только у вас есть это сочинение.

— Возьмите его в моем книжном шкафу, — сказал Бирото, сразу вспомнив обо всех благах своей жизни

Пока внушительный каноник ходил в галерею, викарий оделся. Вскоре раздался звонок к завтраку, и при мысли, что, если бы не Трубер, пришлось бы вставать в холодной комнате, подагрик Бирото решил: «Какой он славный!»

Священники спустились в столовую, держа в руках по огромному тому, которые они положили на одну из консолей.

— Это что такое? — брюзгливо спросила мадемуазель Гамар. — Надеюсь, вы не вздумаете загромождать мою столовую своими фолиантами?

— Эти книги мне нужны, — вмешался аббат Трубер, — господин викарий любезно предоставил их мне в пользование...

Мадемуазель Гамар презрительно скривила губы:

— Мне следовало догадаться! Господин Бирото не очень-то часто заглядывает в эти толстые томы.

— Как вы провели ночь, мадемуазель? — нежнейшим голосом осведомился ее жилец.

— Не особенно хорошо, — сухо ответила она, — и все из-за вас! Вы потревожили меня, когда засыпала, и у меня весь сон пропал.

Садясь к столу, мадемуазель Гамар прибавила:

— Господа, молоко стынет...

Викарий был поражен кислым тоном хозяйки, от которой он вправе был ожидать извинений, — однако, предпочитая не вступать в пререкания, столь тягостные для робких людей, в особенности когда приходится говорить лично о себе, он промолчал и сел за стол. Но, читая на лице мадемуазель Гамар откровенное недовольство, Бирото переживал разлад с самим собою: рассудок его восставал против невежливого обращения хозяйки, а малодушие советовало избегать ссоры. Во власти охватившего его беспокойства, он принялся внимательно рассматривать зеленые разводы плотной клеенки, которую мадемуазель Гамар, по стародавнему обыкновению, оставляла на столе во время завтрака, невзирая на то, что края ее были уже потертые и вся она была в царапинах.

Жильцы сидели друг против друга в плетеных креслах, а мадемуазель Гамар господствовала над квадратным, как у французских королей, столом, восседая, спиной к печке, в своем кресле на колесиках, обложенном подушечками. Эта комната, так же как и общая гостиная, находилась в нижнем этаже, под квартирой аббата Бирото.

Получив от мадемуазель Гамар чашку кофе, викарий почувствовал, что ого сковывает ледяное молчание, среди которого предстояло ему просидеть весь завтрак, обычно столь веселый. Он не смел взглянуть ни на бесстрастное лицо Трубера, ни на грозное лицо старой девы и, желая скрыть свое смущение, обернулся к отягощенному жиром мопсу, который никогда не двигался со своей подушки возле печки, неизменно находя слева тарелочку,

наполненную лакомствами, а справа — миску с чистой водой.

— Ах ты мой славный. — сказал Бирото. — ждешь кофейку?

Мопс, персонаж самый важный в доме, хотя и малообременительный, ибо он уже не лаял, предоставляя изъясняться за него своей хозяйке, поднял на Бирото маленькие глазки, затерявшиеся в жировых складках его морды, затем снова угрюмо опустил веки.

Чтобы дать представление о муках бедного викария, необходимо сказать, что он любил пустые и шумные, как скачущий мяч, разговоры и утверждал, не имея к тому, впрочем, никаких научных оснований, что застольные беседы благоприятствуют пищеварению. Мадемуазель Гамар разделяла эту медицинскую доктрину и вплоть до последнего времени, несмотря на их натянутые отношения, пользовалась случаем поболтать во время трапез; но вот уже несколько дней викарий тщетно изощрялся, задавая ей всяческие вопросы, — она упорно отмалчивалась.

Если бы узкие рамки этой повести позволили воспроизвести хоть одну из их бесед, вызывавших у Трубера мрачную и язвительную усмешку, можно было бы дать яркое представление о скудоумии провинциалов. Люди иронического склада ума получили бы, вероятно, немалое удовольствие от тех странных рассуждений, в которые пускались аббат Бирото и мадемуазель Гамар, выражая свои взгляды на политику, религию и литературу. Было бы, конечно, любопытно привести те доводы, которые в 1826 году позволяли им сомневаться в смерти Наполеона, или тот ход мыслей, который внушил им уверенность, что Людовик XVII[7] здравствует и поныне, благодаря своему чудесному спасению в выдолбленной колоде. Кто не рассмеялся бы, слушая, как они утверждают, опираясь на поистине своеобразные доказательства, что король Франции один распоряжается всеми налогами, что палаты были созваны для расправы с духовенством, что более миллиона трехсот тысяч человек погибло на эшафоте во время революции. Они говорили о прессе, не представляя себе, сколько выходит газет и каким важным орудием служат они в современной жизни.

А то еще, наконец, Бирото внимательно выслушивал, как мадемуазель Гамар изрекала, что человек, съедающий по яйцу каждое утро, непременно умрет в конце года — такие-де случаи ей известны; что от ломоты в суставах можно излечиться в короткий срок, ежедневно съедая всухомятку свежесыпеченный хлебец; что рабочие, принимавшие участие в разрушении аббатства Сен-Мартен, все перемерли, не прошло и полугода; что при Бонапарте некий префект напрасно всячески пытался разрушить башни собора св. Гатиана, — и еще тысячи других небылиц.

Но на этот раз аббат Бирото чувствовал свой язык скованным и покорился необходимости обойтись без застольной беседы; однако вскоре, сочтя это безмолвие опасным для своего пищеварения, он отважился заметить:

— Какой превосходный кофе!

Этот героический подвиг не вызвал никакого отклика. Взглянув на клочок неба, видневшийся над садом, в просвете между двумя черными арками собора, викарий нашел в себе мужество добавить:

— Погода сегодня будет лучше, чем вчера!

В ответ на это замечание мадемуазель Гамар кинула на аббата Трубера самый приветливый взгляд, на какой только была способна, затем обратила глаза, полные устрашающей суровости, на Бирото, который, к счастью, в этот момент сидел потупившись.

Ни одна особа женского пола не подходила больше для воплощения унылого типа старой

девы, чем София Гамар. Но для правильной обрисовки существа, чей характер сообщает огромный интерес и мелким событиям самой этой драмы, и предшествующим ей обстоятельствам жизни действующих лиц, полезно, быть может, вкратце определить закон, наглядным выражением которого служат старые девы: образ жизни формирует душу, а душа формирует физиономию. Несмотря на то, что все, как в обществе, так и во вселенной, должно было бы иметь какую-либо цель, однако же попадаются среди нас существа, чье назначение и полезность необъяснимы. И моралью, и политической экономией равно отвергается всякий индивидуум, который потребляет, не производя, и занимает место на земле, не совершая ни добра, ни зла, ибо зло есть то же, вероятно, добро, результаты которого не проявляются немедленно. По самой сути своей редкая старая дева не принадлежит к разряду этих бесполезных творений. Между тем, если участие в общем труде вызывает у деятельного существа чувство удовлетворения, помогающее ему переносить жизнь, то, напротив, сознание своей обременительности или хотя бы никчемности должно внушать бесполезному существу такое же презрение к самому себе, какое возникает к нему и у других.

В этом суровом общественном осуждении кроется одна из причин безотчетной душевной горечи, которая написана на лицах старых дев. В силу предрассудка — быть может, и не обосновательного — повсюду, а особенно во Франции, женщина, с которой никто не захотел делить и радость и горе, вызывает к себе подлинную неприязнь.

И вот, если девушка так и осталась в девушках, общество — справедливо ли, нет ли — ей же самой выносит суровый приговор за то пренебрежение, жертвой которого она стала. Если она дурнушка — почему, мол, не скрасила своего безобразия хорошим характером? Если красива — ее несчастье вызвано, мол, какими-то особыми недостатками. Трудно сказать, что больше всего ставится в вину. Если девушка сознательно решается на безбрачие, стремясь к независимости, ни мужчины, ни женщины не прощают ей того, что она погрешила против предначертаний самой природы, отказавшись от чувств, столь трогательных в женщине; не разделяя женских тягот, она отрекается и от всей их поэзии и сама лишает себя того нежного сочувствия, на которое мать всегда имеет неоспоримые права. Кроме того, все великодушные чувства, все прекрасные качества женщины развиваются лишь при постоянном их проявлении. Существо женского пола, оставшееся в девицах, холодное и эгоистичное, — это отвратительная бессмыслица. Такой беспощадный приговор вполне справедлив, и старые девы отдадут себе в этом отчет. Вполне естественно, что и сами они таят подобные мысли в глубине души, а сознание своей жалкой участи отражается у них на лицах.

Они блекнут рано, ибо им чужды оживление и счастье, которые так красят женщин и придают столько мягкости их движениям. Человек, не последовавший своему призванию, несчастлив, он становится угрюм и печален; он страдает, а страданием порождается озлобленность. Вполне понятно, что задолго до того, как пенять на себя за свое одиночество, старые девы винят общество; а от обвинения до желания отомстить — один шаг. Вдобавок, неизящество всего их облика — еще одно неизбежное следствие их образа жизни. Не ведая желаний нравиться, они лишены элегантности и вкуса. Кроме их собственной особы, ничто в мире их не трогает; это побуждает их выбирать для себя вещи с точки зрения одного лишь удобства, не заботясь о том, чтобы сделать приятное другим людям.

Не вполне отдавая себе отчет, как сильно она отличается от других женщин, старая дева все же догадывается об этом и страдает. Ревность — извечное чувство женского сердца; но старые девы ревнивы впустую, им приносит лишь огорчения эта единственная слабость, которую мужчины прощают прекрасному полу потому, что она льстит их самолюбию. Терзаемые своими желаниями, вынужденные подавлять свои естественные склонности, старые девы вечно испытывают какую-то внутреннюю скованность. В любом возрасте для женщины тяжело читать на лицах отвращение к ней, ибо ей предназначено природой возбуждать в сердцах окружающих лишь приятные чувства. То, что старая дева всегда

прячет глаза, объясняется не столько скромностью, сколько стыдом и страхом. Она не прощает ни обществу, ни себе самой своего ложного положения. Но и то сказать, для человека, находящегося в постоянном разладе как со своим сердцем, так и с окружающей средой, трудно не позавидовать спокойствию и счастьем других людей.

Весь этот мир грустных раздумий таился в тусклых серых глазах мадемуазель Гамар, а широкие темные круги около глаз говорили о долгих томлениях ее одинокой жизни. Все морщины ее лица были прямые. В очерке ее лба, головы и щек чувствовалась какая-то окаменелость и жесткость. Родинки на ее подбородке поросли седыми волосами, но ей это было безразлично. Тонкими губами едва прикрывались длинные зубы, — впрочем, довольно белые. Жестокие мигрени выбелили ее некогда черные волосы, и она поддевала под чепец фальшивые, дурно завитые локоны, но не умела делать это как следует, и черная тесьма, на которой держался такой полупарик, нередко совсем сползала на лоб. Темные, блеклых тонов платья, летнее — из тафты, а зимнее — шерстяное, некрасиво обтягивали ее угловатую фигуру и тощие руки. Воротничок у нее то и дело отгибался, оголяя красную шею с узором морщин, прихотливым, как жилки дубового листка на свету. Топорное сложение мадемуазель Гамар отчасти объяснялось ее происхождением: отец ее был лесоторговцем, чем-то вроде разбогатевшего крестьянина. Возможно, что лет в восемнадцать она была свежей и пухленькой, но и белизна, и яркий румянец, которыми она так любила украшать себя в своих воспоминаниях, теперь уже исчезли бесследно. Кожа ее приобрела мертвенный тон, обычный для богомольной особы. Орлиный нос говорил красноречивее других черт ее лица о деспотизме характера, а плоский лоб выдавал умственную ограниченность. В движениях мадемуазель Гамар была какая-то странная резкость, лишавшая их всякого изящества. Достаточно было вам увидеть, как она вынимает платок из ридикюля и шумно сморкается, и вы уже представляли себе характер и привычки этой особы.

Она была довольно высокого роста и держалась настолько прямо, что как бы подтверждала наблюдения одного естествоиспытателя, научно объяснявшего походку старых дев тем, что позвонки их якобы срастаются. Когда она шла, тело ее не двигалось плавно, равномерно, с грациозным колыханием стана, столь пленительным у женщин; она двигалась как бы цельною глыбой, грузно шагая, словно статуя командора.

Подобно всем старым девам, она намекала в минуты хорошего настроения, что могла бы выйти замуж не хуже других, но, к счастью, вовремя заметила неискренность своего поклонника; таким образом, сама того не подозревая, она превозносила свою расчетливость в ущерб своему сердцу.

Этой типичной представительнице породы старых дев были вполне под стать нелепые глянцевитые обои ее столовой, на которых были изображены турецкие пейзажи. Большую часть дня мадемуазель Гамар проводила в этой комнате, украшенной двумя консолями и барометром. На креслах аббатов лежали полинялые вышитые подушки. Гостиная, где она принимала своих друзей, была совершенно в духе самой хозяйки. Достаточно сказать, что она называлась желтой гостиной: занавеси там были желтые, мебель — желтая, обои — желтые. На камине, украшенном зеркалом в золоченой раме, резко сверкали канделябры и хрустальные часы. Что же касается личных комнат мадемуазель Гамар, туда никому не разрешалось входить; можно было только предполагать, что они забиты всевозможным тряпьем и потертой мебелью — обычной рухлядью, которой окружают себя все старые девы, питая к ней странное пристрастие. Такова была особа, которой предназначено было сыграть большую роль в судьбе аббата Бирото под конец его жизни.

Не зная, на что направить силы, вложенные в женщину природой, мадемуазель Гамар нашла им применение в мелких интригах, провинциальных пересудах и всякого рода своекорыстных кознях, — чем обычно и кончают старые девы. Бирото, на свое горе, пробудил единственное чувство, доступное этому убогому существу, — чувство ненависти, дотоле дремавшее в сердце Софии Гамар, благодаря спокойствию и однообразию провинциального житья-бытья

и бедности ее личных интересов, но способное к сокрушительным действиям, тем более что оно было направлено на мелочи и ограничено узким мирком.

Бирото был из числа людей, которым предопределено страдать из-за своей ненаблюдательности, — они не умеют избегать опасностей, и с ними случается все самое худшее...

— Да, прекрасная будет погода, — ответил спустя некоторое время каноник, как бы отрываясь от размышлений и уступая лишь требованиям приличия.

Бирото, напуганный длительностью перерыва между вопросом и ответом, проглотил кофе в молчании, чего с ним никогда еще не случалось, и вышел из столовой, чувствуя, что сердце его сжимается словно в тисках. Выпитый кофе отягощал его желудок, и викарий принялся грустно бродить по узеньким буксовым аллеям, расходившимся по саду лучами. Но, пройдясь немного, он обернулся и увидел мадемуазель Гамар и Трубера, застывших в молчании на пороге гостиной; неподвижный, скрестивший руки Трубер напоминал надгробную статую; мадемуазель Гамар прислонилась к решетчатой двери: казалось, оба они наблюдали за ним, считая каждый его шаг.

Нет ничего более тягостного для человека, застенчивого от природы, чем чувствовать себя предметом любопытства; но если сквозь любопытство проглядывает еще и ненависть, то страдания превращаются в пытку. Старику показалось, что он мешает гулять мадемуазель Гамар и Труберу. Им завладела эта мысль, внушенная страхом и щепетильностью, и он покинул сад. Удрученный вздорным деспотизмом старой девы, он, уходя из дому, не думал уже и о сани каноника.

К счастью, в соборе на этот раз его ожидало много дел — несколько заупокойных служб, свадьба, двое крестин, — и он забыл о своих горестях. Но когда желудок напомнил ему о времени обеда, он посмотрел на часы и не без трепета увидел, что уже был пятый час. Зная пунктуальность мадемуазель Гамар, он поспешил домой.

Проходя мимо кухни, он обнаружил, что туда уже успели снести первое блюдо. Когда же он вошел в столовую, мадемуазель Гамар заявила ему:

— Сейчас половина пятого, господин Бирото. Как вам известно, мы не обязаны вас ждать!

В тоне ее голоса прозвучал колкий упрек провинившемуся жильцу, а также злорадство.

Взглянув на стенные часы, викарий по виду прозрачного газового чехла, предохранявшего их от пыли, убедился, что хозяйка заводила их сегодня утром — и, должно быть, коварно перевела стрелку вперед в сравнении с соборными часами. Сделать какое-либо замечание было невозможно. Выскажи он громко возникшее у него подозрение, мадемуазель Гамар, как все женщины ее круга в подобных случаях, сумела бы оглушить его взрывом грозного красноречия, подкрепленного неоспоримыми доводами.

Тысячи мелких каверз, которыми служанка в повседневном быту может досадить своему хозяину или жена — своему мужу, изобретались старою девой, чтобы доконать жильца. В том, как она умело строила козни против домашнего благополучия аббата, сказывалась натура, полная лукавства и изворотливости: все делалось так, что мадемуазель Гамар оказывалась кругом права.

Спустя неделю после начала этой истории Бирото, присматриваясь к домашнему обиходу и наблюдая свою хозяйку, впервые догадался о заговоре, который, однако же, существовал уже целых полгода. Пока старая дева удовлетворяла свою ненависть исподтишка, а викарий еще мог полусознательно заблуждаться, отказываясь верить в злой умысел, его душевная боль была не так остра. Но после таких фактов, как отнесенный наверх подсвечник или

переведенные вперед часы, викарий уже не сомневался в том, что живет под властью врага, который не сводит с него недремлющего ока. Скоро он впал в полное отчаяние, видя, что длинные крючковатые пальцы мадемуазель Гамар готовы в любую минуту вонзиться ему в сердце. С восторгом отдаваясь чувству мести, столь богатому оттенками, мадемуазель Гамар наслаждалась, кружа над обреченной жертвой, подобно тому как ястреб кружит над полевой мышью, готовясь ринуться на нее. У нее давно уже созрел замысел, о котором ошеломленный священник и не догадывался, — и она не замедлила привести свой план в исполнение с тем удивительным искусством, какое проявляют в житейских мелочах одинокие люди, не способные к истинному благочестию и ударяющиеся в мелкое ханжество.

Страдания аббата усугубляло еще одно обстоятельство: человек непосредственный, Бирото всегда любил, чтобы его пожалели и пособлезновали ему, но на этот раз горести его были такого свойства, что он был лишен последнего небольшого утешения — поведать о них своим друзьям; некоторый житейский такт, развившийся в нем в связи с природной застенчивостью, внушал ему опасение показаться смешным, занимаясь такими пустяками. А между тем из таких пустяков складывалась вся его жизнь, милая ему жизнь, деятельная в своей пустоте и пустая в своей деятельности, — жизнь тусклая и серая, в которой всякое сильное чувство было несчастьем, а отсутствие каких бы то ни было волнений — блаженством. Рай Бирото внезапно превратился в ад. Страдания его становились невыносимы; ужас, который внушала ему необходимость объяснения с мадемуазель Гамар, усиливался с каждым днем; затаенная печаль, терзавшая его на старости лет, подточила и его здоровье.

Однажды утром, натягивая свои синие в искорку чулки, он обнаружил, что икры его похудели почти на целый дюйм в окружности; потрясенный жестокой убедительностью этого обстоятельства, он решил попросить аббата Трубера оказать ему услугу и вмешаться в его отношения с мадемуазель Гамар.

Но когда он очутился перед величавым каноником, который принял его в пустой комнате, поспешно покинув кабинет, заваленный рукописями, где он неустанно работал и куда никто не был вхож, викарию стало совестно докучать столь занятому человеку жалобами на злобные выходки мадемуазель Гамар. Но, преодолев душевные колебания, по самым незначительным поводам мучающие чрезмерно скромных, нерешительных и слабохарактерных людей, викарий наконец решился и с сильно бьющимся сердцем рассказал канонику о своей задаче.

Каноник выслушал его с важным и холодным видом, пытаясь подавить улыбку удовлетворения, которая не укрылась бы от зоркого взгляда. Глаза его как бы сверкнули пламенем, когда Бирото с красноречием искреннего чувства поведал ему о горечи, постоянно отравлявшей его сердце; но Трубер прикрыл глаза ладонью, как это часто делают мыслители, и продолжал сохранять привычную, полную достоинства позу. Когда викарий окончил свою речь, на болезненном лице загадочного каноника, покрытом желтыми пятнами еще больше, чем обычно, тщетно было бы искать хоть проблеска чувств, вызванных сетованиями Бирото. Помолчав с минуту, он дал ответ, в который следовало бы вникать слово за словом, чтобы осознать все его значение, и который впоследствии доказал вдумчивым людям редкое хитроумие аббата и силу его разума. Он сразил Бирото, заявив ему, что все услышанное тем более удивляет его, что сам он до сих пор ни о чем подобном и не подозревал. Он приписывал этот недостаток наблюдательности своим серьезным занятиям, усиленной работе и тем высоким мыслям, которые целиком его захватывают, не позволяя присматриваться к мелочам жизни; он заметил вскользь, как бы не желая критиковать поведение человека, почтенного по своему возрасту и знаниям, что «в былые времена отшельники мало заботились о пище и крове и в глубине пустынь предавались святому созерцанию» и что «в наши дни священник может мысленно создать себе повсюду такую пустыню». Затем, возвращаясь к самому Бирото, он добавил, что подобного рода недоразумения для него новость; за все двенадцать лет ничего похожего не происходило между мадемуазель Гамар и досточтимым аббатом Шаплу; а что касается его самого, —

добавил он, — то, конечно, он может стать посредником между викарием и хозяйкой, ибо его дружба с ней не переходит границ, установленных законами церкви для ее верных слуг. Справедливость требует, чтобы он выслушал также и мадемуазель Гамар, но он, впрочем, не замечает в ней никаких перемен, и, на его памяти, она всегда была такова; сам он охотно подчинился некоторым ее прихотям, ибо, как он знал, эта почтенная девица — воплощение доброты и кротости, а кое-какие неровности ее характера следует приписать страданиям, причиняемым легочной болезнью, о которой она не говорит, покорно перенося ее, как истинная христианка. Он закончил свою речь словами, что «стоит викарию пробыть у мадемуазель еще несколько лет, и он сумеет лучше понять и оценить сокровища этой прекрасной натуры».

Бирото вышел от него совершенно растерянный. Вынужденный роковою силой обстоятельств действовать по своему усмотрению, он подошел к мадемуазель Гамар со своей меркой. Ему пришло в голову, что, быть может, если он покинет дом на несколько дней, ненависть этой девицы уляжется сама собой, — и он решил не надолго поселиться за городом, у г-жи де Листомэр, которая обычно перебиралась туда в конце осени, в ту пору, когда небо Турени так чисто и благостно. Несчастный! Этим он осуществлял тайные желания своей грозной гонительницы, козни которой можно было бы расстроить лишь монашеским терпением. Но, ни о чем не догадываясь, не зная даже своих собственных дел, он и должен был пасть, как ягненок под первым же ударом мясника.

Расположенное на возвышенности между городом и вершинами Сен-Жоржа, окруженное скалами и открытое к югу, имение г-жи де Листомэр сочетало в себе все удобства деревни и все удобства города. И в самом деле, чтобы добраться от Турского моста до ворот этой усадьбы, называемой «Жаворонок», требовалось не более десяти минут, — ценное преимущество в краю, где никто не любит затруднять себя даже ради удовольствий.

Аббат Бирото пробыл в имении около десяти дней, как вдруг однажды утром, во время завтрака, к нему подошел привратник с сообщением, что с ним желает переговорить господин Карон. Карон был стряпчий, поверенный в делах мадемуазель Гамар.

Бирото, забыв об этом обстоятельстве и зная только, что никаких поводов к юридическим спорам у него ни с кем на свете нет, вышел из-за стола весьма озадаченный и направился к стряпчему, усевшемуся на баллюстраде террасы.

— Ввиду того, что ваше намерение больше не проживать у мадемуазель Гамар стало совершенно очевидным... — начал стряпчий.

— Что вы, сударь! — прервал его Бирото. — Я и не думал от нее съезжать.

— Однако, сударь, — возразил Карон, — вам надлежит объясниться с мадемуазель Гамар, раз она посылает меня узнать, долго ли еще вы пробудете в деревне... Принимая во внимание, что длительное отсутствие не предусмотрено в вашем договоре, может возникнуть повод для тяжбы. И вот мадемуазель Гамар, считая, что ваш пансион...

— Я не понимаю, сударь, — снова прервал стряпчего изумленный Бирото, — почему требуется прибегать чуть ли не к судебному воздействию, чтобы...

— Мадемуазель Гамар, желая предупредить какие-либо осложнения, послала меня столковаться с вами, — ответил Карон.

— Ну так вот, соблаговолите зайти завтра — я посоветуюсь и дам вам ответ.

— Хорошо, — сказал Карон, откланиваясь.

Сутяжных дел мастер удалился. Несчастный викарий вернулся в столовую в ужасе от

настойчивого преследования мадемуазель Гамар. На нем лица не было, и все бросились расспрашивать его, что случилось.

Ничего не отвечая, он сел за стол, удрученный смутным предчувствием несчастья. Лишь после завтрака, когда несколько друзей собрались в гостиной у камелька, Бирото простодушно рассказал им со всеми подробностями о своем злключении. Слушатели его, уже начавшие скучать в деревне, живо заинтересовались этой интригой, столь типичной для провинции. Все приняли сторону аббата против старой девы.

— Да разве вы не понимаете, что Трубер зарится на вашу квартиру! — сказала г-жа де Листомэр.

Здесь историку было бы уместно набросать портрет этой дамы, но он полагает, что даже те, кому система когномологии[8] Стерна неизвестна, едва произнеся три слова — «госпожа де Листомэр», — уже представляют себе эту даму: она благородна, полна чувства собственного достоинства и строгого благочестия, смягченного изысканными манерами и классическим изяществом старой королевской Франции; добра, но несколько упряма и говорит слегка в нос; позволяет себе чтение «Новой Элоизы», смотрит комедии на сцене и пока еще не носит старушечьей наколки.

— Нельзя допустить, чтобы Бирото уступил этой вздорной старухе! — воскликнул г-н де Листомэр, старший лейтенант флота, проводивший у тетки отпуск. — Если у викария хватит решимости следовать моим советам, он легко добьется, чтобы его оставили в покое.

Все принялись обсуждать поведение мадемуазель Гамар с особой пронизательностью провинциалов, которым нельзя отказать в даровании вскрывать самые тайные мотивы человеческих поступков.

— Все это не так, — сказал один старый помещик, хорошо знавший местные нравы. — Здесь кроется что-то очень серьезное, но что именно, я еще не могу уловить. Аббат Трубер слишком сложен, чтобы его сразу разгадать. Горести нашего милого Бирото только еще начались. Даже уступив свою квартиру аббату Труберу, станет ли он снова спокоен и счастлив? Сомневаюсь.

Он обернулся к священнику, пораженному всем услышанным.

— Если Карон явился сообщить вам, что вы намерены съехать от мадемуазель Гамар, то, без сомнения, сама мадемуазель Гамар намерена спровадить вас. И вы съедете от нее, волей или неволей! Подобного рода люди никогда ничем не рискуют и бьют только наверняка.

Этот старый дворянин, носивший фамилию де Бурбонн, воплощал в себе дух провинции с такой же полнотой, с какой Вольтер воплощал в себе дух своей эпохи. Сухопарый, тощий старик выказывал полное равнодушие к своему костюму, уверенный, что о его богатом поместье достаточно знают в округе. Его лицо, выдубленное солнцем Турени, было не столько умным, сколько хитрым. Он привык взвешивать свои слова, обдумывать всякий свой шаг, и под его кажущейся простотой таилась глубочайшая осмотрительность. Достаточно было немного понаблюдать за ним, чтобы заметить, что помещик этот, похожий на нормандского крестьянина, всегда преуспевал в своих делах. Он был силен в виноделии, излюбленной науке жителей Турени.

После того как ему удалось увеличить свои угодья за счет наносов Луары и ловко избежать при этом судебного процесса с государством, за ним упрочилась слава человека с головой. Если, очарованные им как собеседником, вы стали бы расспрашивать о нем любого из жителей Турени, то услышали бы в ответ:

«О! этот старый плутяга всех переплутует!» Такой отзыв о нем вошел в поговорку у его завистников, а их было немало. В Турени, как почти повсеместно в провинции, зависть служит основой языкового творчества.

После слов г-на де Бурбонна в гостиной вдруг наступила тишина, и члены этого небольшого сплоченного кружка, казалось, погрузились в раздумье. Вскоре доложили о мадемуазель Саломон де Вильнуа. Она приехала из Тура, чтобы проведать Бирото, и сообщенные ею новости показали все в совершенно ином свете. За минуту до ее приезда каждый, кроме помещика, советовал Бирото начать войну с Трубером и Гамар в надежде на покровительство и защиту аристократического общества Тура.

— Главный викарий, ведающий составом клира, внезапно заболел, — объявила мадемуазель Саломон, — и архиепископ поручил исполнение его обязанностей аббату Труберу. Теперь назначение в каноники зависит только от него. Но вот вчера у мадемуазель де ла Блотьер аббат Пуарель что-то уж очень распространялся о том, будто бы аббат Бирото доставил мадемуазель Гамар кучу неприятностей. В словах Пуареля чувствовалось желание как бы заранее оправдать немилость, угрожающую нашему аббату: «Шаплу был очень нужен такому человеку, как Бирото... После смерти этого достопочтенного каноника всем стало ясно...» Тут последовали разные предложения, клеветнические пересуды... Ну, вы понимаете?

— Быть Труберу главным викарием! — торжественно заявил г-н де Бурбонн.

— Скажите, — воскликнула г-жа де Листомэр, взглянув на викария, — что для вас важнее — сан каноника или проживание у мадемуазель Гамар?

— Сан каноника, — хором ответили все.

— Тогда придется пойти на уступку, — продолжала она, — не намекают ли они вам через Карона, что если вы согласитесь выехать, то станете каноником? Дающему воздастся!

Все пришли в восторг от догадливости и проницательности г-жи де Листомэр, лишь племянник ее, барон де Листомэр, шутливым тоном сказал, наклонившись к г-ну де Бурбонну:

— Признаюсь, хотелось бы мне увидеть бой между старухой Гамар и Бирото!

Но, к сожалению, светские знакомые Бирото не располагали равными силами с мадемуазель Гамар, поддерживаемой аббатом Трубером. В скором времени борьба стала явной и выросла до огромных размеров.

Госпожа де Листомэр и ее друзья, все более и более увлекаясь этой интригой, заполнившей пустоту их провинциальной жизни, решили послать слугу за Кароном. Стряпчий прибыл на зов с поразительной поспешностью, что заставило насторожиться одного лишь г-на де Бурбонна.

— Лучше повременить со всем этим, пока не выяснится, в чем тут дело... — таково было мнение этого Фабия Кунктатора[9] в халате, уже начавшего путем глубоких размышлений угадывать сложные комбинации туренской шахматной игры.

Он попытался разъяснить аббату опасность его положения, но благоразумные мысли старого плутяги шли вразрез с общим настроением, и он не завоевал внимания.

Беседа между аббатом Бирото и стряпчим была недолгой; Бирото вернулся растерянный и сказал:

— Карон спрашивает у меня расписку, удостоверяющую разрыв...

— Какое страшное слово! — воскликнул лейтенант.

— Что оно означает? — спросила г-жа де Листомэр.

— Только и всего, что Бирото должен объявить о своем желании покинуть дом мадемуазель Гамар, — ответил, беря щепотку табаку, г-н де Бурбонн.

— Только и всего? Подписывайте! — заявила г-жа де Листомэр, глядя на Бирото. — Раз вы твердо решили выехать от нее, что же может вам помешать изъявить свою волю?

Воля Бирото?!

— Так-то оно так... — сказал г-н де Бурбонн, защелкнув табакерку резким движением, полным непередаваемой выразительности, ибо это была целая речь, и, кладя табакерку на камин с таким видом, который должен был бы устроить викария, закончил: — Однако подписывать всегда опасно.

Чувствуя, что голова у него идет кругом от стремительного вихря событий, застигнувших его врасплох, от той легкости, с какой друзья решали самые важные вопросы его одинокой жизни, Бирото стоял неподвижно, словно отрешенный от мира, ни о чем не думая, только прислушиваясь и пытаясь уловить смысл в словоизвержениях окружающих.

Наконец он взял у г-на Карона заготовленное им заявление и, казалось, с глубоким вниманием — на самом же деле машинально — прочитал его текст; затем подписал этот документ, гласивший, что он добровольно отказывается проживать у мадемуазель Гамар, равно как и столоваться у нее, упраздняя соглашение, ранее заключенное между ними на сей предмет.

Достопочтенный Карон взял подписанный документ, спросил аббата, куда надлежит перевезти его вещи от мадемуазель Гамар. Бирото указал дом г-жи де Листомэр; кивком головы она выразила согласие приютить его у себя на некоторое время, не сомневаясь в его скором назначении каноником.

Старому помещику захотелось взглянуть на этот своеобразный акт отречения, и г-н Карон подал ему документ.

— Вот как! — обратился г-н де Бурбонн к викарию, прочитав текст. — Значит, между вами и мадемуазель Гамар имеется письменное соглашение? Где же оно? Каковы договорные пункты?

— Контракт у меня, — ответил Бирото.

— Вам известно его содержание? — спросил г-н де Бурбонн у стряпчего.

— Нет, сударь, — ответил тот, протягивая руку за роковой бумагой.

«Э, господин стряпчий, — подумал помещик, — ты уж наверняка ознакомился с контрактом, но не за то тебе платят, чтобы ты нам все рассказывал».

И г-н де Бурбонн отдал документ стряпчему.

— Куда же я дену свою мебель? — вскричал викарий. — Мои книги, чудесный шкаф, дивные картины, красную гостиную, всю обстановку?

Отчаяние старика, так сказать лишенного родной почвы, было таким детски беспомощным, так выдавало всю чистоту его нрава, всю его житейскую неопытность, что и г-жа де Листомэр, и мадемуазель Саломон заговорили с ним тоном матери, обещающей своему ребенку

игрушку:

— Ну, не стоит горевать из-за пустяков! Мы подыщем вам дом и теплее и светлее, чем у мадемуазель Гамар! А не найдется ничего подходящего, — что ж! Одна из нас возьмет вас к себе на пансион. Полно, сыграем-ка лучше в триктрак! Завтра вы пойдете к аббату Труберу, попросите его оказать вам поддержку и сами увидите, как он будет мил.

Слабых людей столь же легко успокоить, как и напугать. Бирото, которому улыбалась перспектива поселиться у г-жи де Листомэр, позабыл о своем разрушенном благополучии, составлявшем его долгожданную упоительную утеху.

Однако вечером он все не мог заснуть, ломая себе голову, раздумывая, где бы ему поместить свою библиотеку так же удобно, как в его галерее, и испытывал сущую муку, ибо он принадлежал к тем людям, для которых суэта переезда и новизна жизненного уклада равносильны концу света. Он уже представлял себе, что его книги разбросаны, мебель сунута куда попало, все его привычки нарушены, и в сотый раз спрашивал себя, почему первый год его проживания у мадемуазель Гамар был таким приятным, а второй — таким тяжелым. И его злоключение все представлялось ему какой-то бездной, где терялся его разум. Ему уже казалось, что и сан каноника — недостаточная награда за такие страдания, и он сравнивал свою жизнь с чулком, который весь расплзается из-за какой-нибудь одной спустившейся петли. У него, правда, оставалась мадемуазель Саломон. Но, утратив свои прежние иллюзии, бедняга уже не решался верить новой привязанности.

В

citt? dolente [10] старых дев встречается, особенно во Франции, немало таких, чья жизнь — это жертва, день за днем набожно приносимая благородным чувствам. Одни остаются горделиво верны тому, кого слишком рано похитила смерть; мученицы любви, они сердцем проникли в тайну, как стать женщинами. Другие повиновались требованиям фамильной чести (к стыду для нас, вырождающейся в наши дни), посвятив себя воспитанию братьев или сирот-племянников, и приобщились к материнству, оставаясь девственными. Такие старые девы проявляют высший героизм, доступный их полу, благоговейно посвящая все свои женские чувства служению несчастным. Они являют собой идеальный образ женщины, отказываясь от положенных ей радостей и взяв на себя лишь ее страдания. Они живут, окруженные ореолом самоотвержения, и мужчины почтительно склоняют головы перед их поблекшей красотой. Мадемуазель де Сонбрейль [11] не была ни женщиной, ни девушкой — она была и останется навеки живой поэзией.

Мадемуазель Саломон была одним из таких героических созданий. Ее многолетняя, мучительная, никем не оцененная самоотверженность была возвышенной до святости. Прекрасная в юности, она была любима, она любила; но жених ее сошел с ума. Пять долгих лет, полная мужественной любви, она посвятила заботам о благополучии жалкого умалишенного, с безумием которого она так сроднилась, что даже не замечала его.

Она держалась просто, отличалась прямоотой в своих взглядах, и ее бледное лицо, несмотря на слишком уж правильные черты, не лишено было выразительности. Она никогда не говорила о событиях своей жизни, но порой, слушая рассказ о каком-нибудь ужасном или печальном происшествии, она вся содрогалась, и в ее волнении проявлялась душевная красота, которую порождает подлинная скорбь.

Она переехала жить в Тур после того, как потеряла своего возлюбленного. Ее не могли оценить здесь по достоинству и считали всего лишь славной особой. Она делала много добра и питала особую нежность ко всем слабым существам. Именно поэтому викарий и вызывал в ней глубокое участие.

Мадемуазель де Вильнуа, уехав на следующее утро в город, отвезла туда Бирото, ссадила

его на Соборной набережной и предоставила ему брести к Монастырской площади, куда ему не терпелось попасть, чтобы, по крайней мере, спасти от крушения свои надежды на сан каноника, да и присмотреть за перевозкой обстановки.

С сердечным трепетом позвонил он у дверей того самого дома, куда он привык входить вот уже четырнадцать лет, где ему жилось так хорошо и откуда его изгоняли навеки, хотя он лелеял мечту мирно умереть здесь, наподобие своего друга Шаплу.

При виде викария Марианна, казалось, была удивлена. Он сказал ей, что ему надо переговорить с аббатом Трубером, и пошел было в нижний этаж к канонику. Но Марианна крикнула ему:

— Господин викарий, аббата Трубера там уже нет! Он теперь в ваших прежних комнатах!

Сердце Бирото дрогнуло; ему открылось подлинное лицо этого человека, он понял, как долго вынашивал Трубер свою месть, когда увидел, что тот расположился в библиотеке Шаплу, восседал в роскошном готическом кресле Шаплу, пользовался вещами Шаплу, — а ночью, должно быть, почивал в постели Шаплу, — словом, завладел как хозяин всем достоянием Шаплу, грубо попирая его завещание и лишая наследства друга того самого Шаплу, который так долго продержал его в конуре у мадемуазель Гамар, помешал ему в продвижении по службе и закрыл доступ в лучшие светские гостиные Тура.

Не мановение ли волшебного жезла вызвало всю эту перемену? Разве эти вещи уже не принадлежали ему, Бирото? Видя, с каким победоносно-злым видом Трубер взирал на его книги, Бирото заключил, что будущий главный викарий вполне уверен в своих силах и не собирается выпускать из рук имущество тех, кого он так жестоко ненавидел, — Шаплу, как своего врага, и Бирото, как постоянное напоминание о нем.

Самые разнообразные мысли проносились в мозгу Бирото, и все казалось ему каким-то сном: он замер на месте, словно замороженный пристальным взглядом Трубера.

— Надеюсь, сударь, — выговорил он наконец, — вы не собираетесь лишить меня моих вещей? Если мадемуазель Гамар так торопилась устроить вас получше, ей все же следовало подумать обо мне и дать мне время уложить книги и вывезти обстановку.

— Сударь, — холодно ответил Трубер, и ни один мускул не дрогнул на его бесстрастном лице, — мадемуазель Гамар сообщила мне вчера о вашем отъезде, причина которого мне еще неизвестна; она поместила меня здесь лишь по необходимости: мою квартиру занял аббат Пуарель. Я даже не знаю, кому принадлежат эти вещи — мадемуазель Гамар или иному лицу. Если они ваши, о чем же вам беспокоиться? Честность и святость ее жизни — залог порядочности этой особы. Что же касается меня, вам известна простота моих привычек. Пятнадцать лет я спал в комнате с голыми стенами, не обращая внимания на сырость, сгубившую мое здоровье. Однако, если бы вы пожелали вновь поселиться в этой квартире, с моей стороны не было бы никаких препятствий...

Услыхав эти слова, полные ужасного смысла, Бирото забыл про свои хлопоты о сани каноника и бросился к мадемуазель Гамар. С юношеской стремительностью сбежав по лестнице, он столкнулся со старою девою на широкой каменной площадке, соединявшей одну половину дома с другою.

— Сударыня, — обратился он с поклоном к мадемуазель Гамар, не обращая внимания ни на язвительную улыбку, змеившуюся на ее губах, ни на какой-то особенный огонек в ее глазах, придававший им сходство с блестящими глазами тигра, — мне непонятно, почему вы не подождали, пока я вывезу обстановку, прежде чем...

— Что такое? — прервала она аббата. — Разве ваши вещи не отправлены к госпоже де

Листомэр?

— Но мебель?

— Да вы что же, не читали нашего контракта? — спросила старая дева таким тоном, который следовало бы привести в нотной записи, чтобы дать представление обо всех оттенках ненависти, прозвучавших в этой фразе. И мадемуазель Гамар, казалось, выросла, и глаза ее заблестели еще ярче, и лицо ее озарилось, и трепет наслаждения пробежал по ней. Трубер открыл окно, — вероятно, чтобы светлее было читать какой-то фолиант. Бирото стоял, как громом пораженный. Голос мадемуазель Гамар, пронзительно-звонкий, как труба, оглушал викария:

— Ведь было же условлено, что в случае вашего добровольного выезда от меня вся ваша обстановка переходит ко мне в возмещение разницы между вашей платой за пансион и платой почтенного аббата Шаплу. И вот, так как аббат Пуарель назначен каноником...

Услыхав об этом, Бирото слегка качнулся вперед, как бы прощаясь со старой девой; затем, боясь лишиться чувств и доставить слишком большое торжество своим неумолимым врагам, он поспешил уйти. Словно в каком-то пьяном чаду, он добрался до особняка г-жи де Листомэр, где и нашел в низенькой комнатке свой чемодан с бельем, вещами и бумагами. При виде остатков своего имущества бедняга сел и закрыл лицо руками, чтобы утаить от людей свои слезы.

Пуарель назначен каноником! А он, Бирото, лишился и крова и имущества!

К счастью, в эту минуту мадемуазель Саломон проезжала мимо дома; привратник, от которого не укрылось отчаяние старика, сделал кучеру знак остановиться. После того как привратник и старая дева обменялись несколькими словами, полумертвый от горя викарий был приведен к своей доброй приятельнице, но ей ничего не удалось добиться от него, кроме бессвязного лепета. Испуганная мадемуазель Саломон, увидев, что его голова, и без того от природы слабая, внезапно пришла в полное расстройство, тотчас же увезла его в имение г-жи де Листомэр, приписывая начавшееся умопомешательство впечатлению от известия, что каноником назначен Пуарель. Она ничего не знала об условиях контракта с мадемуазель Гамар по той весьма понятной причине, что Бирото и сам не знал всего его содержания, и, так как в жизни комическое зачастую примешивается к самым патетическим событиям, странные ответы Бирото вызывали у нее слабую улыбку.

— Шаплу был прав! — повторял он. — Это чудовище!

— Да кто же? — допытывалась она.

— Шаплу! Он отнял у меня все...

— Вы хотите сказать — Пуарель?

— Нет, Трубер!

По приезде Бирото в имение друзья окружили его таким заботливым вниманием, что к вечеру им удалось успокоить его и добиться связного рассказа об утренних происшествиях.

Флегматичный г-н де Бурбонн попросил показать контракт, в котором, как он подозревал еще со вчерашнего дня, была разгадка всей этой истории. Бирото, вынув из кармана роковой документ, дал его г-ну де Бурбонну, а тот, пробежав его глазами, увидел следующий пункт: «Ввиду существующей разницы в восемьсот франков ежегодно между платой за пансион, каковую вносил покойный г-н Шаплу, и платой, за каковую вышеупомянутая София Гамар соглашается поселить у себя на оговоренных условиях вышеупомянутого Франсуа Бирото, и

ввиду того, что нижеподписавшийся Франсуа Бирото заявляет, что он не в состоянии платить в течение нескольких лет сумму, выплачиваемую пансионерами мадемуазель Гамар, в частности аббатом Трубером; наконец, принимая во внимание различные услуги, оказанные вышеупомянутой нижеподписавшейся Софией Гамар, — вышеупомянутый Бирото обязуется оставить ей, в виде возмещения, обстановку, которою он будет владеть к моменту своей кончины или же тому моменту, когда он по какому бы то ни было поводу и в какое бы то ни было время добровольно покинет помещение, занимаемое им в настоящий момент, и не будет больше пользоваться услугами, оговоренными в обязательствах, принятых Софией Гамар по отношению к нему, вышеуказанному...»

— Ну и ну! — воскликнул г-н де Бурбонн. — Какими, однако, когтями вооружена сия вышеупомянутая София Гамар!

Бедняга Бирото, детский ум которого не в состоянии был представить себе, что в мире может найтись причина, способная в один прекрасный день разлучить его с мадемуазель Гамар, рассчитывал прожить у нее до самой смерти. Он начисто забыл об этом пункте, условия которого даже и не обсуждались, ибо в то время, когда он стремился стать пансионером мадемуазель Гамар, он готов был согласиться на все ее требования и подписал бы любой предложенный ею документ.

Его простодушие было так почтенно, а поведение мадемуазель Гамар так жестоко; в судьбе несчастного шестидесятилетнего старика было что-то столь прискорбное, а беспомощность делала его столь трогательным, что г-жа де Листомэр воскликнула в порыве негодования:

— Это я виновата в том, что вы подписали документ, принесший вам разорение... И я должна вернуть вам счастье, которого я вас лишила!

— Однако контракт этот составлен недобросовестно, — заметил старый дворянин, — есть основания оспаривать его в судебном порядке...

— Прекрасно! Пусть Бирото подает в суд! Проиграет он в Туре так выиграет в Орлеане; проиграет в Орлеане — выиграет в Париже! — вскричал барон де Листомэр.

— Но если он хочет судиться, — хладнокровно заметил г-н де Бурбонн, — я советую ему сначала сложить с себя сан викария...

— Мы переговорим с адвокатами, — заявила г-жа де Листомэр, — и если надо судиться — что ж, будем судиться! Но это дело настолько постыдно для мадемуазель Гамар и может так сильно повредить аббату Труберу, что, я уверена, они пойдут на мировую!

После всестороннего обсуждения каждый пообещал аббату Бирото свое содействие в предстоящей ему борьбе с врагами и всеми их приспешниками. Верное чутье, необъяснимая интуиция, свойственная провинциалам, подсказывали им соединение этих двух имен — Гамар и Трубер. Однако один только старый помещик ясно понимал размах предстоящей борьбы; г-н Бурбонн отвел аббата в сторону и, понизив голос, сказал ему:

— Из четырнадцати человек, собравшихся здесь, через две недели ни один не будет за вас! И если вам понадобится помощь, только у меня, быть может, найдется достаточно смелости, чтобы взять вас под защиту, ибо я знаю провинцию, ее людей, дела, а главное, борьбу интересов! Но все ваши друзья, пусть даже преисполненные самых лучших намерений, увлекают вас на ложный путь, на котором вам несдобровать! Послушайтесь моего совета: если вы хотите жить спокойно, откажитесь от места викария, уезжайте из Тура. Втихомолку подыщите себе какой-нибудь отдаленный приход, чтобы навсегда укрыться от Трубера.

— Но как же можно уехать из Тура! — вскричал викарий с непередаваемым ужасом.

Для него это равнялось смерти. Разве это не означало оборвать все нити, которыми он был связан с жизнью? У холостяков привычка заменяет чувство. Такой душевный склад позволяет им не столько жить, сколько проходить сквозь жизнь, а если, вдобавок, они еще и слабохарактерны, то внешняя обстановка приобретает над ними необычайную власть.

Бирото был подобен растению, жизнеспособность которого можно погубить неосторожной пересадкой. Так же как дерево, чтобы жить, должно постоянно питаться одними и теми же соками и всегда держаться корнями в родной почве, — Бирото должен был неизменно расхаживать по собору св. Гатиана, постоянно семенить по одной и той же части бульвара — месту своих привычных прогулок, ежедневно ходить по все тем же знакомым улицам и проводить каждый вечер в одной из трех гостиных, где он играл в вист или триктрак.

— Да, это я упустил из виду, — участливо глядя на священника, промолвил г-н де Бурбонн.

Вскоре весь город узнал, что баронесса де Листомэр, вдова генерал-лейтенанта, приютила у себя аббата Бирото, соборного викария. Это обстоятельство, в котором многие сначала даже усомнились, и особенно высказывания мадемуазель Саломон о мошенничестве и необходимости судебного разбирательства — разрешили все вопросы и четко определили враждующие стороны.

Мадемуазель Гамар, наделенная, как все старые девы, болезненным честолюбием и непомерно раздутым самомнением, почувствовала себя уязвленной вмешательством г-жи де Листомэр. Баронесса была женщиной высокого положения, отличалась изысканными привычками, прекрасными манерами, неоспоримо хорошим вкусом и благочестием. Приютив у себя Бирото, она тем самым решительно опровергала все наветы на него со стороны мадемуазель Гамар, молчаливо осуждала ее поведение и как бы поддерживала жалобы викария на его хозяйку.

Для понимания этой истории необходимо пояснить, каким подспорьем для мадемуазель Гамар была способность к выведыванию и разнохиванию, дающая старухам возможность знать все, что творится вокруг, — и так же необходимо пояснить, каковы были силы ее лагеря.

В сопровождении молчаливого аббата Трубера она отправлялась вечерами в какой-нибудь из пяти-шести знакомых домов, где собиралось десятка полтора лиц, близких друг другу по своим интересам и положению: два-три старика, разделявших мелкие страстишки своих служанок и их любовь к сплетням; пять-шесть старых дев, проводивших свои дни в перебирании каждого слова и в выслеживании каждого шага своих соседей, равно как и других местных жителей, к какому бы кругу общества они ни принадлежали; несколько пожилых женщин, у которых только и было дела, что ядовито злословить, вести точный учет всем состояниям в городе, наблюдать за поступками окружающих, предсказывать свадьбы и осуждать поведение своих подруг столь же язвительно, как и поведение врагов.

Эти особы, разбросанные по всему городу, вбирали, подобно капиллярам растения, всасывали в себя жадно, как листок — росу, разные новости, тайны каждой семьи и непрерывно передавали их аббату Труберу, как листья передают стеблю поглощенную ими влагу. И вот на еженедельных вечерах, побуждаемые потребностью поволноваться, свойственной всем людям, благочестивые женщины производили учет всех городских событий с пронизательностью, достойной Совета Десяти[12] и азартно занимались сыском, руководимые безошибочным нюхом. Когда же их синедриону удавалось открыть тайную пружину какого-либо поступка, каждая, гордо присваивая себе честь этого открытия, несла его дальше, в свой особый кружок, где оно служило поводом к новым пересудам. Эта праздная и деятельная, невидимая и всевидящая, живущая втихомолку и неумолчно говорящая конгрегация обладала, при своих незначительных размерах, некоторым влиянием, становившимся даже страшным, когда ее воодушевлял какой-нибудь крупный интерес. А

давно уже в сфере ее деятельности не возникало события столь важного и для каждого из них столь значительного, как борьба Бирото, поддерживаемого г-жой де Листомэр, с мадемуазель Гамар и аббатом Трубером. В самом деле, среди знакомых мадемуазель Гамар салоны г-жи де Листомэр, г-жи Мерлен де ла Блотьер и мадемуазель де Вильнуа давно уже вызвали неприязнь, объясняемую сословной враждой и тщеславием. Это была борьба народа с римским сенатом в кротовой норе или же буря в стакане воды, как некогда выразился Монтескье по поводу республики Сан-Марино, где лица, стоявшие у кормила правления, сменялись чуть ли не каждый день, так легко было там завладеть тиранической властью. Однако же эта буря разбудила страсти столь же сильные, как и те, что двигают величайшими историческими событиями. Не заблуждение ли считать, что жизнь кипуча лишь для тех, чей ум охвачен обширными замыслами, способными всколыхнуть все общество? Каждый час жизни аббата Трубера приносил столько же разнообразных волнений, порождал столько же тревожных мыслей, был столь же подвержен резким сменам отчаяния и надежд, как и самые решительные часы в жизни честолюбца, игрока или любовника. Одному богу известно, чего нам стоят наши тайно одержанные победы над людьми, над обстоятельствами, над самими собой. Пускай мы не всегда знаем, куда идем, но тяготы нашего пути нам хорошо известны.

Однако если историку будет позволено прервать изложение драматических событий и на минуту стать критиком; если он пригласит вас бросить взгляд на жизнь нескольких старых дев и двух аббатов, чтобы отыскать в ней прискорбную причину, изуродовавшую все их существо, то, может быть, вы убедитесь со всей очевидностью, что человеку необходимо изведать сильные чувства, чтобы в нем развились благородные свойства, которые расширили бы круг его жизни и смягчили эгоизм, присущий всем созданиям.

Возвращаясь в город, г-жа де Листомэр и не подозревала, что вот уже с неделю, как друзьям ее приходилось защищать ее доброе имя от клеветы: утверждали, будто привязанность ее к племяннику — весьма предосудительного свойства, чему она сама, конечно, только посмеялась бы.

Она повела Бирото к своему адвокату, которому затеваемая тяжба показалась делом нелегким. Друзья викария — то ли слишком уверенные в успехе правого дела, то ли относясь небрежно к тому, что лично их не затрагивало, — отложили подачу жалобы в суд до своего возвращения в Тур. Сторонники мадемуазель Гамар опередили их и сумели представить дело в невыгодном для Бирото свете.

Вот почему законник, клиентура которого состояла только из благочестивых городских семейств, немало изумил г-жу де Листомэр, посоветовав ей не затевать тяжбы, и завершил беседу словами, что сам он не возьмется вести это дело, ибо, по смыслу контракта, мадемуазель Гамар была юридически права, а с точки зрения справедливости — даже если оставить в стороне чисто правовые вопросы — и суд, и общественное мнение обвинят Бирото в сутяжничестве, неуступчивости, в отсутствии той мягкости, которая ему до сих пор приписывалась; что мадемуазель Гамар, достаточно известная своей кротостью и предупредительностью, в свое время оказала Бирото услугу, дав ему в долг, без расписки, деньги на оплату пошлин при введении в права наследства по завещанию Шаплу; что Бирото не в том возрасте и не настолько уж наивен, чтобы подписывать контракт, не зная его содержания и не понимая его значения; что ежели Бирото расстался с мадемуазель Гамар, не дожив у нее и второго года, в то время как его друг, аббат Шаплу, прожил у нее целых двенадцать лет, а Трубер — пятнадцать, то, очевидно, он пошел на это из каких-то особых расчетов, и, следовательно, вся тяжба будет сочтена проявлением неблагодарности.

Провожая их, адвокат дал Бирото выйти на площадку лестницы и задержал г-жу де Листомэр, уговаривая ее не ввязываться в это неприятное дело.

И вот вечером несчастный викарий, терзаясь, как осужденный на смертную казнь,

ожидающий в камере Бисетра[13] результатов кассационной жалобы, рассказал о мнении адвоката своим друзьям, собравшимся в кружок у камина перед тем как засесть за карты.

— Вряд ли кто из наших турецких крюкотворов возьмется за это дело, не питая намерения его проиграть, кроме разве адвоката-либерала... Так что советую оставить эту затею, — заявил г-н де Бурбонн.

— Какой позор! — возмутился лейтенант. — Я сам пойду с Бирото к тому адвокату.

— Пойдите, но когда уже стемнеет, — вставил г-н де Бурбонн.

— Да почему же?

— А потому что на место главного викария, скончавшегося третьего дня, назначен, как мне сказали, аббат Трубер.

— Ну, а мне наплевать на аббата Трубера!

К несчастью, барон де Листомэр, несмотря на свой тридцатилетний возраст, не обратил внимания, что г-н де Бурбонн предостерегающе указывает ему глазами на советника префектуры, друга Трубера, — и барон присовокупил:

— Если аббат Трубер — шельма...

— О-о! — прервал его г-н де Бурбонн. — Зачем же вмешивать аббата Трубера в это дело, к которому он совершенно непричастен?

— Как! — не унимался барон. — Да разве не он присвоил себе обстановку аббата Бирото? Помнится, зайдя как-то к Шаплу, я видел у него две дорогие картины. Предположим, они стоят тысяч десять франков. Так, значит, вы полагаете, что господин Бирото намерен был отдать за двухлетнее пребывание у этой Гамар десять тысяч франков, не считая библиотеки и мебели, которые стоят не меньше?

Бирото широко раскрыл глаза, услышав, что он владел таким состоянием!

Барон с жаром продолжал:

— Вот что! В Туре сейчас гостит у своей тещи господин Сальмон, бывший эксперт Парижского музея. Нынче же вечером мы с аббатом Бирото заглянем к нему и попросим его оценить картины. А оттуда мы пойдем к стряпчому.

Спустя день-другой дело сдвинулось с места. Выбор адвоката-либерала в защитники Бирото был для аббата неблагоприятен. Лица, настроенные оппозиционно к правительству, и лица, известные своим неуважением к религии или же просто священникам, — чего многие не различают, — взяли дело в свои руки, и это вызвало в городе шум.

«Мадонну», кисти Валантена Булонского, и «Христа», кисти Лебрена, редкостные произведения искусства, эксперт музея оценил в одиннадцать тысяч франков. Что касается книжного шкафа и готической мебели, они стоили в данный момент не менее двенадцати тысяч франков, если взять во внимание, что в Париже мода на подобные вещи росла с каждым днем. А в совокупности все движимое имущество аббата эксперт, произведя осмотр, оценил в тридцать тысяч франков. Стало очевидно, что Бирото не мог иметь намерение отдать такие ценные вещи за ту небольшую сумму, которую, в силу одного из пунктов соглашения, он был должен мадемуазель Гамар, — и таким образом возник юридический повод к тому, чтобы соглашение было пересмотрено, а в противном случае старую деву можно было обвинить в злостном обмане.

Адвокат-либерал завел судебное дело, вчинив иск девице Гамар. Хотя и несколько вызывающее по тону, исковое прошение, подкрепленное ссылками на решения верховного суда и на статьи Свода законов, представляло собою талантливый образец юридической логики и так красноречиво обвиняло мадемуазель Гамар, что в десятках копий было распространено по городу злорадствующей оппозицией.

Спустя несколько дней после начала военных действий между старой девой и Бирото барон де Листомэр, ожидавший производства в следующий чин, капитана корвета, — о чем уже говорили в Морском министерстве, — получил письмо: один из его друзей сообщал, что в канцелярии министерства был поднят вопрос о его увольнении в запас.

Немало удивленный такой новостью, он поспешил в Париж и явился на вечерний прием к министру, который, казалось, впервые обо всем этом слышал и только посмеялся над опасениями барона. Но все же тот на следующий день справился в канцелярии. По-приятельски, как это нередко случается, один из секретарей разболтал ему все, а потом показал заготовленный доклад, подтверждавший роковое известие и лишь из-за болезни начальника не представленный министру.

Барон де Листомэр тотчас направился к своему дяде, имевшему возможность, в качестве депутата, немедленно повидать министра в палате, и попросил его разузнать о намерениях его превосходительства, ибо дело тут шло буквально обо всей будущности.

Сидя в дядюшкином экипаже, барон де Листомэр ждал в большом волнении конца заседания.

Депутат вышел задолго до его закрытия и сказал племяннику на обратном пути:

— И угораздило тебя воевать с аббатами! Министр сразу же сообщил мне, что ты стал во главе турских либералов. У тебя недопустимые убеждения, ты не следуешь направлению политики правительства, и т. д. Его фразы были так запутаны, как будто он все еще говорил в палате. Но я ему сказал: «Давайте объяснимся начистоту!» Его превосходительство наконец откровенно сообщил мне, что ты в скверных отношениях с высшим духовенством. Словом, справившись у своих коллег, я узнал, что ты непочтительно отзываешься о некоем аббате Трубере — правда, всего лишь главном викарии, но тем не менее самом значительном лице в целой провинции, ибо он является там представителем конгрегации[14]. Я заявил министру, что ручаюсь за тебя головой. Так вот, любезный племянник, если ты хочешь делать карьеру, не возбуждай против себя вражды духовенства. Возвращайся скорее в Тур и заключи мир с этим чертовым главным викарием. Знай, что с главными викариями следует всегда жить в ладу. И надо ж было придумать! В то время, когда все мы работаем над восстановлением религии, ты, лейтенант флота, желающий выдвинуться, не нашел ничего умнее, как подрывать уважение к духовенству! Если же ты не помиришься с аббатом Трубером — больше на меня не рассчитывай! Я от тебя откажусь! Министр по делам церкви только что говорил мне об этом человеке как о будущем епископе. Если он возненавидит нашу семью, он подставит мне ножку при предстоящем производстве в пэры. Ты понимаешь, чем это пахнет?

Слова дяди открыли барону де Листомэру тайну ночных занятий Трубера, которые вызывали у Бирото простодушное изумление: «Над чем это он постоянно работает по ночам?»

Близость Трубера к женскому кружку, ловко занимавшемуся сыском в городе, а также его личные способности побудили конгрегацию выбрать именно его среди всех священников города в тайные проконсулы Турени. Архиепископ, генерал, префект — все, от мала до велика, находились под его тайной властью.

Барон де Листомэр недолго раздумывал.

— И то правда, — отвечал он дяде. — Не дожидаться же, чтобы вторым своим залпом аббаты совсем пустили мой корабль ко дну!

Дня через три после дипломатического совещания дяди с племянником моряк внезапно вернулся в Тур в почтовой карете и в первый же вечер рассказал тетке о том, что угрожает самым заветным надеждам семьи де Листомэров, если оба они с теткой будут упорствовать, поддерживая

этого дуралея Бирото!

Барон де Листомэр задержал старого помещика, взявшегося за шляпу и палку сразу по окончании партии в вист. Осведомленность

старого плутяги была необходима для распознавания подводных камней, среди которых оказались Листомэры, а

старый плутяга только затем и поспешил разыскать свою шляпу и палку, чтобы услышать просьбу на ушко: «Останьтесь, нам надо поговорить!»

Скорое возвращение барона, его подчеркнуто самодовольный вид, не вязавшийся, однако, с озабоченностью, проступавшей в иные минуты на его лице, внушили г-ну де Бурбонну смутное подозрение, что моряк, действуя против Гамар и Трубера, встретил препятствия в своем рейсе. Старый помещик ничуть не удивился, когда барон сообщил о тайной власти главного викария, члена конгрегации.

— Я об этом знал, — сказал он.

— Как! — вскричала баронесса. — И вы нас не предупредили!

— Сударыня, — возразил тот с живостью, — позабудьте, что я догадался о тайном влиянии этого священника, и я забуду, что вы также об этом знаете. Если мы не будем скрывать нашу осведомленность, мы прослышем его сообщниками; нас начнут опасаться и ненавидеть. Делайте, как я, — притворяйтесь недогадливой, а сами на каждом шагу помните об опасности; я вам достаточно намекал, вы не желали меня понять, а я боялся себе повредить.

— Но как нам выпутаться из этого дела? — воскликнул барон.

Вопрос был не в том, покинуть ли аббата Бирото, — это само собой подразумевалось всеми тремя участниками совещания.

— Искуснейшие полководцы всегда умели отступать с достоинством, — ответил г-н де Бурбонн. — Подчинитесь Труберу; если тщеславие в нем сильнее ненависти, он станет вашим союзником. Но подчиняйтесь ему до известного предела — иначе он наступит вам на горло, согласно изречению Буало[15]: «Уничтожай дотла — так поступает церковь!» Прикиньтесь, барон, что оставляете службу, таким образом вы ускользнете от Трубера. А вы, сударыня, расстаньтесь с викарием, пусть Гамар возьмет верх. Когда будете у архиепископа, спросите Трубера, играет ли он в вист, — он ответит утвердительно. Пригласите его к себе на партию виста; ему так хочется бывать у вас, он, конечно, придет. Вы — женщина, сумеете привлечь его на свою сторону. Когда же барон станет капитаном первого ранга, дядя его — пэром Франции, Трубер — епископом, тогда вы преспокойно сделаете Бирото каноником. А до тех пор подчиняйтесь, но подчиняйтесь, сохраняя достоинство и как бы угрожая. Ваше семейство может оказать Труберу не меньшую поддержку, чем он вам. Вы прекрасно поладите. А вы, моряк, плавайте поосторожней и не пренебрегайте лотом!

— Бедняжка Бирото! — вымолвила баронесса.

— О, образумьте его как можно скорей! — ответил помещик, направляясь к выходу. — Если какой-нибудь ловкий либерал завладеет этой пустой башкой, вы увидите от Бирото немало огорчений. Возможно, что суд выскажется в его пользу, так что Трубер, я думаю, побаивается приговора. Он может еще простить вам то, что вы начали враждебные действия, но, потерпев от вас поражение, он станет неумолим. Я все сказал.

Он защелкнул табакерку, надел кожаные калоши и ушел.

На следующее утро, после завтрака, баронесса, оставшись наедине с викарием, сказала ему с заметным смущением:

— Дорогой Бирото, вы, конечно, сочтете меня несправедливой и непоследовательной, но я прошу вас ради нашего общего блага, во-первых, отказаться от иска к мадемуазель Гамар и, во-вторых, выехать из моего дома.

Бедняга Бирото побледнел. Она же продолжала:

— Я неумышленно стала причиной вашего несчастья, — я знаю, если бы не мой племянник, вы не начали бы этой тяжбы, на беду и себе самому, и всем нам. Я сейчас вам все расскажу.

И она объяснила ему вкратце, какой размах приняло дело и как важны его последствия. За ночь она поразмыслила над всем поведением Трубера и обо многом стала догадываться, так что была в состоянии безошибочно разъяснить Бирото, как опутывала его эта ловко подготовленная месть, рассказать о пронизательности и силе его врага, раскрыть всю его ненависть, поведать о ее причинах, представить ему, как Трубер пресмыкался перед Шаплу целых двенадцать лет, а теперь пожирает, изничтожает этого Шаплу в лице его друга.

Простодушный Бирото сложил ладони словно для молитвы и заплакал от огорчения, услышав о таких мерзких делах, о которых его чистое сердце и не подозревало.

Чувствуя себя будто на краю какой-то пропасти, Бирото молча слушал, уставившись мокрыми от слез глазами на свою благодетельницу, которая в заключение сказала ему:

— Я знаю, как дурно вас покидать, но, дорогой аббат, семейные обязанности стоят выше дружеских. Склонитесь перед грозой, как это делаю я, и я докажу вам впоследствии свою признательность. Что касается ваших житейских дел, я ими займусь. У вас не будет забот о куске хлеба. Через посредство г-на де Бурбонна, который сумеет соблюсти осторожность, я устрою так, чтобы вы ни в чем не терпели недостатка. Дорогой друг, позвольте мне предать вас! Я подчинюсь необходимости, но моя привязанность к вам останется неизменной. Решайте!

Несчастный аббат, потрясенный до глубины души, воскликнул:

— Значит, прав был Шаплу, говоря, что Трубер, если бы только мог, и в могиле не оставил бы его в покое! И он-то спит в постели Шаплу!

— Теперь не до сетований, — заметила г-жа де Листомэр. — Время не терпит! Решайте.

Доброе сердце Бирото не могло не последовать в такой переломный момент непосредственному порыву преданности. Да и жизнь его была теперь лишь медленным умиранием. Он сказал, бросив своей покровительнице полный отчаяния взгляд, от которого дрогнуло ее сердце:

— Я отдаю себя в ваши руки. Я уже всего лишь труха,
трушинка, упавшая на мостовую.

Это туренское словцо не имеет равнозначного, кроме слова «соломинка». Но бывают красивые соломинки, желтые, гладкие, блестящие — их подбирают дети, тогда как

трушинка обозначает соломинку бесцветную, серую, грязную, валявшуюся по канавам, гонимую ветром, измятую ногами прохожих.

— Но только, сударыня, мне не хотелось бы оставлять аббату Труберу портрет Шаплу, сделанный для меня. Он — мой. Добейтесь, чтобы мне его вернули, от остального я отказываюсь.

— Хорошо, — ответила г-жа де Листомэр, — я зайду к мадемуазель Гамар.

Тон этих слов выдавал, какое усилие сделала над собой г-жа де Листомэр, решаясь унизиться до того, чтобы потешить тщеславие старой девы.

— Я постараюсь все уладить, — добавила она, — хотя не смею даже надеяться. Ступайте к господину де Бурбонну, пусть он напишет в должной форме бумагу о вашем отказе от иска. Принесите мне документ, а затем, с помощью его высокопреосвященства архиепископа, нам удастся, быть может, совсем замять ваше дело.

Бирото ушел охваченный ужасом. Трубер вырос в его глазах до размеров египетской пирамиды. Руки этого человека орудовали и в Париже, и в соборе св. Гатиана.

«Что же это такое? — вертелось в мозгу Бирото. — Он, и вдруг помешает господину маркизу де Листомэру стать пэром!

И, быть может, с помощью его высокопреосвященства удастся дело замять! »

Перед лицом столь крупных интересов Бирото чувствовал себя какой-то мошкой. Он признавал свою вину.

Известие о переезде Бирото удивило всех, тем более что причина его была неясна. Г-жа де Листомэр говорила, что ей понадобилось помещение викария, чтобы расширить свою квартиру, ввиду женитьбы племянника, уходящего со службы. Никто еще не знал об отказе Бирото от иска. Таким образом, наставления г-на де Бурбонна были в точности соблюдены.

Эти две новости, дойдя до ушей главного викария, должны были польстить его самолюбию, доказывая ему, что семья де Листомэров если еще и не сдалась, то, по крайней мере, держалась нейтрально и молчаливо признавала тайную власть конгрегации. А признание не было ли в какой-то мере и подчинением? Но дело все же подлежало судебному разбирательству. Не означало ли это одновременно и уступку и угрозу?

Итак, Листомэры заняли в борьбе положение, подобное тому, какое занимал главный викарий: они держались в стороне и могли всем руководить.

Но произошло важное событие, еще более затруднившее успех планов, намеченных г-ном де Бурбонном и Листомэрами для умиротворения лагеря Гамар и Трубера: мадемуазель Гамар простудилась, возвращаясь из собора, слегла и была, как говорили, тяжело больна.

В знак сочувствия весь город огласился притворными сетованиями: «Чувствительность мадемуазель Гамар не вынесла этой скандальной тяжбы!», «Она во всем права, и она же умирает от огорчения!», «Бирото убивает свою благодетельницу!»

Такого рода фразы разносились повсюду капиллярами великого тайного собрания женщин и сочувственно повторялись всем городом.

Госпожа де Листомэр испытала напрасное унижение, нанеся старой деве визит, — она ничего

не добилась.

Она очень вежливо спросила, нельзя ли переговорить с главным викарием. Аббат Трубер, очевидно, весьма польщенный визитом знатной дамы, которая им пренебрегала, и радуясь, что он может принять ее в библиотеке Шаплу, у камина, над которым висели пресловутые ценные картины, — заставил баронессу подождать некоторое время, затем сообразовал дать ей аудиенцию.

Ни один придворный или дипломат, защищая свои собственные интересы или ведя переговоры государственного значения, не проявил бы больше ловкости, скрытности, изворотливости, чем аббат и баронесса, оказавшись друг против друга.

Подобно средневековому пестуну, который, готовя рыцаря к турниру, заботился о его вооружении и поддерживал его своими советами,

старый плутяга предупреждал баронессу:

— Не забывайте своей роли: вы — примирительница, а не заинтересованное лицо; Трубер тоже всего лишь посредник. Взвешивайте свои слова, следите за колебаниями голоса у главного викария. Если он погладит свой подбородок, значит, вы пленили его.

Некоторые рисовальщики забавлялись, изображая в карикатуре контраст, нередко существующий между

тем, что говорят, и

тем, что думают. И здесь, для правильного понимания смысла словесной дуэли между священником и светской дамой, необходимо разоблачить мысли, которые они прятали друг от друга под незначительными с виду фразами.

Госпожа де Листомэр прежде всего высказала огорчение по поводу судебного дела Бирото, затем выразила пожелание, чтобы оно было прекращено без ущерба для обеих сторон.

— Зло уже совершено, — сурово ответил аббат, — добродетельная мадемуазель Гамар умирает.

(Эта безмозглая старая дева интересуется меня не больше, чем китайский богдыхан, — думал он, —

но я не прочь взвалить ее смерть на вас и встревожить вашу совесть, раз вы настолько глупы, чтобы тревожиться из-за таких пустяков.)

— Узнав о ее болезни, сударь, — продолжала баронесса, — я потребовала, чтоб господин викарий отказался от иска, и вот я принесла этот документ нашей праведнице.

(Я тебя вижу насквозь, хитрая шельма. Но теперь нам не страшна твоя клевета. А вот если ты возьмешь документ, ты попался, ты признаешься в своем соучастии.)

С минуту длилось молчание.

— Мирские дела мадемуазель Гамар меня не касаются, — ответил наконец Трубер, опуская тяжелые веки на орлиные глаза, чтобы скрыть свое волнение.

(Эге! Я не попадусь на ваши уловки! Однако слава богу! Проклятые адвокаты перестанут заниматься этим делом, которое могло бы меня запятнать! Но что нужно этим Листомэрам, чего ради они так заискивают передо мной?)

— Сударь, дела господина Бирото мне настолько же безразличны, как вам — интересы мадемуазель Гамар. Но, к сожалению, религия может пострадать от их раздоров; в вас я вижу не более чем посредника, а сама выступаю как примирительница...

(Мы с вами не проведем друг друга. Чувствуете ли вы, уважаемый Трубер, всю соль моего ответа?)

— Религия пострадает, сударыня? — переспросил главный викарий. — Религия стоит слишком высоко, чтобы люди имели возможность ее задеть.

(Религия — это я.) Бог все рассудит, я признаю лишь его суд.

— Ну что ж, — ответила она, — постараемся согласовать решение людей с божьим приговором.

(Да, религия — это ты.)

Аббат Трубер вдруг переменяет тон:

— Ваш племянник, кажется, побывал в Париже?

(Вы там узнали кое-что новенькое; да, я могу раздавить вас, — вас, презиравших меня; вы готовы сдаться!)

— Да, сударь, спасибо за ваше внимание к нему; сегодня вечером он возвращается в Париж по вызову министра, который очень хорошо к нам относится и не хочет, чтобы барон оставлял службу.

(Нет, иезуит, ты нас не раздавишь, и тайная твоя насмешка мною понята.)

Молчание.

— Я не одобряю его поведения в этом деле, — снова заговорила она, — но следует простить моряку неосведомленность в правовых вопросах.

(Заклучим союз. Воюя друг против друга, мы ничего не выиграем.)

Слабая улыбка, мелькнув на лице аббата, затерялась в морщинах.

— Он оказал нам услугу, уяснив нам ценность этих двух произведений искусства, — сказал Трубер, бросив взгляд на картины. — Они будут прекрасным украшением для часовни Пресвятой девы.

(Вы съязвили на мой счет, вот вам в ответ: мы квиты.)

— Если вы пожертвуете их собору, я попрошу у вас разрешения принести в дар церкви рамы, достойные как этих полотен, так и самой часовни...

(Хорошо бы заставить тебя признаться, что ты зарился на обстановку Бирото!)

— Они мне не принадлежат, — ответил священник, по-прежнему держась настороже.

— Но вот документ, который кладет конец всей распре и признает их принадлежность мадемуазель Гамар. — С этими словами она положила документ на стол.

(Оцените же мое доверие к вам.) — Сударь, — добавила она, — сделайте доброе дело, достойное вас, достойное вашего благородного характера, примирите этих двух христиан; хотя Бирото мало занимает меня в данный момент...

— Однако он живет у вас, — прервал ее аббат.

— Нет, сударь, — ответила она, — его у меня уже нет.

(Ради пэрства моего шурина и повышения в чине племянника я вынуждена пойти на всякие подлости.)

Невозмутимость не покидала аббата, но именно такое полное спокойствие было у него признаком сильного волнения. Только один г-н де Бурбонн сумел разгадать тайну этой кажущейся невозмутимости. Священник торжествовал.

— Зачем же вы берете на себя его поручение? — спросил он, возбуждаемый тем же чувством, которое подстрекает женщин все снова и снова напрашиваться на комплимент.

— Только из сострадания. Вы знаете, конечно, какой у него нерешительный характер, — и вот он попросил, чтоб я пошла к мадемуазель Гамар и ценой его отказа...

Священник нахмурил брови.

— ...от своих прав, признанных выдающимися адвокатами, добилась от нее портрета...

Трубер взглянул на нее в упор.

— ...портрета Шаплу, — договорила она. — Я оставляю его просьбу на ваше усмотрение.

(Тебе плохо пришлось бы, если бы ты вздумал судиться.)

Когда она упомянула о «выдающихся адвокатах», Трубер понял, что ей известны уязвимые места противника.

В этой беседе, которая велась еще долго в том же духе, г-жа де Листомэр выказала столько ума и находчивости, что умный аббат, оценив их по достоинству, согласился наконец переговорить с мадемуазель Гамар о примирении.

Вскоре он вернулся.

— Сударыня, передаю вам слова нашей бедной умирающей: «Аббат Шаплу был так добр ко мне, и я не могу расстаться с его портретом». Что касается меня — будь этот портрет моим, я не уступил бы его никому. Чувство мое к дорогому покойнику неизменно. И, полагаю, именно я, больше чем кто бы то ни было, вправе владеть его изображением.

— Сударь, не стоит ссориться из-за плохого портрета.

(Наплевать мне на него так же, как и тебе.) Пусть он останется у вас, а мы закажем с него копию. Я поздравляю себя с тем, что замяла это злополучное дело и имела удовольствие познакомиться с вами. Я слышала, что вы мастерски играете в вист. Женщине простительно быть любопытной, — добавила она, улыбаясь. — Можете не сомневаться, что если вы придете когда-нибудь ко мне поиграть, вам будет оказан самый радушный прием.

Трубер погладил рукой подбородок.

«Я его завоевала, — подумала она, — Бурбонн был прав, в нем есть-таки доля тщеславия!»

В самом деле, главный викарий переживал в этот момент восхитительное ощущение, столь хорошо известное Мирабо, видевшего наконец в дни своей славы, как распахивались перед его экипажем ворота особняка, ранее закрытые для него.

— Сударыня, — ответил он, — мои занятия мешают мне бывать в свете, но чего не сделаешь

для вас?

(Старая дева подохнет, я возьмусь за Листомэров и услугу им, если они мне услужат; с ними лучше дружить, чем враждовать.)

Госпожа де Листомэр вернулась домой в надежде, что архиепископ завершит дело примирения, столь счастливо начатое.

Но Бирото не суждено было дожидаться плодов своей уступчивости. Г-жа де Листомэр узнала на другой день о кончине мадемуазель Гамар. Когда ее завещание было вскрыто, никого не удивило, что она назначила аббата Трубера своим единственным наследником. Ее имущество было оценено в триста тысяч франков. Главный викарий послал г-же де Листомэр два пригласительных билета на заупокойную службу и похороны: один — для самой баронессы, другой — для ее племянника.

— Придется пойти, — сказала она.

— Это, конечно, не что иное, как испытание! — воскликнул г-н де Бурбонн, — монсеньор Трубер хочет проверить вас... Смотрите же, барон, проводите покойницу до самого кладбища, — обратился он к лейтенанту, который, к своему несчастью, еще не успел уехать.

Отпевание отличалось небывалой пышностью; но оплакивал покойницу только один человек — никем не замечаемый Бирото, который, уединясь в отдаленном притворе, искренне молился за упокой ее души и, считая себя виновным в ее кончине, горько сокрушался о том, что не попросил у нее прощения за свой проступок.

Аббат Трубер провожал тело своей духовной дочери до могилы. На краю ямы он произнес надгробное слово и с присущим ему красноречием создал из убогой жизни новопреставленной поистине величественную картину. Присутствующие обратили внимание на заключительную часть.

«Жизнь эта, обильная днями, посвященными богу и религии, жизнь, украшенная многими высокими деяниями, свершаемыми втайне, многими смиренными и сокровенными добродетелями, была разбита страданием, которое мы назвали бы незаслуженным, если бы у порога вечности не обязаны были помнить, что все наши печали ниспосланы нам самим господом. Многочисленные друзья этой благочестивой девицы, зная благородство и чистоту ее души, предвидели, что она способна вынести все, кроме подозрений, позорящих ее жизнь. Быть может, всеблагой промысл затем и призвал ее в лоно господя нашего, дабы избавить от юдоли страданий. Благословенны сохраняющие здесь, на земле, душевный покой, подобно тому как девица София покоится ныне в блаженных селениях, облаченная в одеяние невинности...»

— Теперь вы представьте себе, — продолжал г-н де Бурбонн, сообщавший о подробностях погребения г-же де Листомэр, когда были сыграны все партии, закрыты двери и с хозяйкой дома остались только он сам да барон, — представьте себе, как этот Людовик Одиннадцатый в сутане, окончив свою пышную речь, делает последний взмах кропилом — вот так вот! — И г-н де Бурбонн, взяв каминные щипцы, настолько живо воспроизвел жест аббата Трубера, что барон и его тетка невольно улыбнулись. — Он выдал себя только тут, — продолжал старый помещик. — До этого его поведение было безупречным. Но, законопачивая на веки вечные старую деву, которую он презирал до глубины души, а уж ненавидел, вероятно, не менее, чем аббата Шаплу, ему, конечно, трудно было подавить свое ликование: оно прорвалось наружу.

Мадемуазель Саломон, придя на следующее утро завтракать к г-же де Листомэр, взволнованно сообщила:

— Нашему бедному аббату Бирото нанесен удар, в котором чувствуется тщательно

обдуманый план мщения. Он назначен приходским священником в Сен-Сенфорьен.

Сен-Сенфорьен — пригород Тура, расположенный за мостом. Этот мост, длиной в тысячу девятьсот футов, — один из лучших памятников французской архитектуры; у обоих его концов раскинулись совершенно одинаковые площади.

— Вы понимаете?.. — спросила она после паузы, удивленная равнодушием, с каким г-жа де Листомэр приняла эту новость. — Он будет там словно за сто миль от Тура, от своих друзей, от всего, к чему привык... И хуже всего то, что, оторванный от родного города, он будет его видеть, но только издали! После всех потрясений он еле волочит ноги, а ему пришлось бы пройти целую милю, чтобы нас повидать! Сейчас у бедняги жар, он в постели. Церковный дом там — холодный и сырой, а приход небогат и не может его согреть. Наш бедный старик будет словно замурован в склепе. Как все это жестоко!

Чтобы закончить наше повествование, нам только остается сообщить о кое-каких событиях и набросать последнюю картину.

Спустя полгода главный викарий был посвящен в епископы. Г-жа де Листомэр скончалась, оставив аббату Бирото по завещанию тысячу пятьсот франков ежегодного дохода. Завещание баронессы стало известно, когда его преосвященство Гиацинт, новопосвященный епископ города Труа, готов был уже покинуть Тур, отправляясь в свою епархию. Но он отложил свой отъезд. Взбешенный тем, что женщина, которой он протянул руку, его перехитрила и тайно поддерживала человека, бывшего, как он считал, его врагом, Трубер вновь ополчился против де Листомэров. На собрании в гостиной архиепископа он бросил по их адресу одно из тех пастырских изречений, в которых под медоточивой кротостью таится смертоносный яд, и тем поставил под угрозу мечту дядюшки о звании пэра и мечту племянника о повышении в чине.

Честолюбивый капитан навел на непримиримого священника, который, очевидно, предъявил ему суровые условия, ибо дальнейшее поведение барона доказало его полную покорность страшному члену конгрегации.

Дом мадемуазель Гамар новый епископ особой дарственной записью передал соборному капитулу, библиотеку Шаплу подарил духовной семинарии, обе картины принес в дар церкви для часовни Пресвятой девы, но портрет Шаплу оставил у себя. Никто не мог понять причины этого отказа от наследства мадемуазель Гамар. Г-н де Бурбонн предположил, что епископ тайно сохранил часть его наличными деньгами, чтобы с достоинством поддерживать свое положение в Париже, если бы ему пришлось занять место на скамье епископов в верхней палате.

Лишь перед самым отъездом епископа

старый плутяга догадался о конечной цели этого поступка, о смертельном ударе, который упорнейшая мстительность наносила слабейшей жертве.

Права Бирото на наследство г-жи де Листомэр были оспорены бароном де Листомэром под предлогом недобросовестного воздействия аббата на волю завещательницы. А через несколько дней после возбуждения дела барон был произведен в капитаны первого ранга. В качестве дисциплинарной меры викарию церкви Сен-Сенфорьена было запрещено совершать богослужение. Церковные власти предрешили постановление суда:

— Убийца Софии Гамар — к тому же еще и мошенник!

Сохранив наследство мадемуазель Гамар, Труберу было бы трудно добиться наказания для Бирото.

Когда монсеньор Гиацинт, епископ города Труа, отправляясь в Париж, проезжал в почтовой карете по набережной Сен-Сенфорьяна, больной аббат Бирото был вынесен в кресле на открытую площадку, на солнышко. Несчастный священник, на которого возложил кару архиепископ, исхудал и побледнел. Скорбное выражение до неузнаваемости изменило весь его облик, когда-то столь приветливый и ласковый. В глубоко запавших от болезни глазах — некогда простодушно-веселых глазах человека, любящего хорошо поесть и не утруждающего себя тяжелым раздумьем, — появился как бы проблеск мысли; это был лишь остов прежнего Бирото, пустого, но довольного жизнью, который только год тому назад катился шариком по Монастырской площади.

Епископ бросил на свою жертву взгляд, полный презрительной жалости, затем соблаговолил забыть о нем и проехал мимо.

В другие времена Трубер, несомненно, стал бы каким-нибудь Гильдебрандом[16] или Александром VI[17]. Ныне же церковь утратила политическое могущество и не дает выхода для жизненных сил человека, обреченного на одинокое существование. Ведь безбрачие порочно тем, что сосредоточивает все помыслы и чувства человека на собственном

я, развивает в нем эгоизм и, следовательно, превращает холостяков в людей бесполезных и даже вредных для общества.

В нашу эпоху правительства совершают ошибку, заставляя не общественный строй служить человеку, а человека — общественному строю. Индивидуум постоянно борется с системой, которая его эксплуатирует, меж тем как он стремится эксплуатировать ее в своих интересах; а прежде человек, располагавший большею свободой, относился с большим воодушевлением и к общественному благу. Сфера возможного применения человеческой деятельности постепенно увеличилась; ум, который способен был бы охватить ее в целом, представлял бы собою блистательное исключение. В мире духовном действует тот же закон, что и в мире физическом: движение теряет в своей напряженности столько, сколько выигрывает в широте охвата; нельзя основывать общества на исключениях.

В начале исторического развития общества мужчина был всего лишь отцом, и сердце его горячо билось для семейного круга. В дальнейшем он отдавал свои силы клану или небольшой республике. Отсюда ведут начало великие исторические подвиги Греции и Рима. Затем он становился членом замкнутой касты или приверженцем какой-либо религии, для возвеличения которых он был способен на высокий героизм. Здесь сфера его духовных запросов расширяется множеством интеллектуальных интересов.

Ныне жизнь каждого человека связана с жизнью огромной страны; предполагают, что вскоре его семьей станет весь мир. Но этот духовный космополитизм — мечта христианского Рима — не окажется ли только лишь величественной ошибкой? Так естественно верить в осуществление благородной химеры, в братство людей! Но увы! Человеческая машина не рассчитана на столь грандиозный размах. У заурядного человека, отца семейства, нет такой широты души, чтобы вместить мир чувств и мыслей, волнующих великих людей.

Некоторые физиологи полагают, что когда мозг человека развивается, сердце его должно суживаться. Это заблуждение! Напротив, кажущийся эгоизм людей, вынашивающих в себе научные открытия, судьбы народов и законы, не представляет ли собою самое благородное из людских чувств — чувство материнства, обращенное на народные массы?

Чтобы пробуждать к жизни новые народы или создавать новые идеи, могучий мозг таких людей должен обладать одновременно животворной щедростью, подобно материнской груди, и мощью самого бога. Ведь Петр Великий и другие преобразователи и вершители судеб человеческих, а в церковном мире папа Иннокентий III — это, в своих высочайших сферах, носители той же силы ума, какую в зародыше представлял Трубер, каноник собора св.

Гатиана.

Сен-Фирмен, апрель 1832 г.

Примечания

Повесть «Турский священник» впервые была напечатана под заглавием «Холостяки» («Les célibataires») в «Сценах частной жизни», издание 1832 года; затем под тем же заглавием была включена в «Сцены провинциальной жизни», издание 1833 года; наконец, в 1848 году под нынешним своим заглавием вошла во второй том «Человеческой комедии» (первое издание).

1

«...имя, дважды прославленное в наш век...» — Здесь имеются в виду: 1) сам адресат посвящения — Пьер-Жан Давид, прозванный Давидом Анжерским (1788—1856), известный французский скульптор-портретист, автор бюста Бальзака; 2) Жак-Луи Давид (1748—1825), знаменитый художник, крупнейший представитель революционного классицизма во французской живописи, активный участник революционных событий, член Конвента; после реставрации Бурбонов жил в изгнании.

2

Капитул — коллегия духовных лиц, состоящих при епископе в католической церкви.

3

Было его заветным желанием (лат.).

4

Черная шайка. — Так называли компании спекулянтов, которые во время французской революции XVIII в. скупали на слом старинные замки и монастыри.

5

Ораторианец. — Ораторианцы — члены религиозных обществ, основанных в Западной Европе в XVI в.; свое название получили от ораторий — молитвенных домов.

6

Сикст Пятый — римский папа (с 1585 по 1590 г.). Историк Грегорио Лети писал, что он в течение тринадцати лет притворялся больным и был избран папой лишь потому, что кардиналы рассчитывали на его скорую смерть. Однако, едва выборы состоялись, новый папа отбросил костыль, выпрямился и громовым голосом запел благодарственный гимн.

7

Людовик XVII. — Так после казни Людовика XVI роялисты именовали его второго сына. Людовик XVII умер в тюрьме в 1795 г., но роялисты распространяли слух, что он жив и похищен из тюрьмы своими сторонниками.

8

Когномология — учение об именах (лат.)

9

Фабий Кунктатор. — Квинт Фабий, по прозвищу Кунктатор (что означает Медлитель) — римский полководец III в. до н. э.; во время Второй Пунической войны измотал силы карфагенского полководца Ганнибала своей тактикой уклонения от решительного боя.

10

Селенья скорби, то есть ад (из «Божественной комедии» Данте).

11

Мадемуазель де Сонбрейль. — Мария де Сонбрейль, добровольно последовала в тюрьму за своим отцом, арестованным в 1792 г. революционными властями.

12

Совет Десяти — тайный совет в Венеции XIV—XVIII вв., состоящий из представителей аристократии и осуществлявший высший контроль над государственной властью Венецианской республики.

13

Бисетр — тюрьма, впоследствии убежище для престарелых и умалишенных; находится неподалеку от Парижа.

14

Конгрегации — объединения католических монастырей, принадлежащих к одному и тому же ордену; во времена Реставрации, особенно при Карле X, были важнейшими проводниками политической реакции в стране.

15

Буало Никол? (1636—1711) — выдающийся французский теоретик классицизма и поэт.

16

Гильдебранд. — Григорий VII Гильдебранд — римский папа (с 1073 по 1085 г.), ярый сторонник светской власти католической церкви.

17

Александр VI. — Александр VI Борджа — римский папа (с 1492 по 1503 г.); стремился, прибегая к постоянным интригам, предательствам и тайным убийствам, превратить Папскую

область в сильное государство, способное подчинить себе всю Италию.